ольга форш

ВОРОН

ольга форш ВОРОН



Ольга Форш

ВОРОН

РОМАН

государственное издательство
художественной литературы
ленинградское отделение

1934

Супер-обложка и переплет
работы художника
Епифанова

Отв. редактор А. Колесень, техн. редактор В. Яковлева,
корректор К. Хорошавина.

Сдано в набор 19/XI 1933 г. Подписано к печати 25/II 1934 г.
Огиз ГИХЛ № 2776. Тираж 10250 экз. Ленгорлит № 3910. Зак. № 1294.
Бумага 62×89 см., авт. л. 9,49. (166144 тип. знак. в 1 б. л.). Печ. л. $4^3/_4$.

2-я тип. „Печ. двор" треста „Полиграфкнига". Ленинград, Гатчинская, 26.

Гоголю

АНТИК

Учитель Лагода развернул план Москвы и, тычась очками в Камерколлежский вал, набрел наконец на то, что ему было нужно: Данилова слобода, Данилова застава...

Ну, разве стоило искать еще и монастырь того же имени? Ясно, что раз он тоже Данилов, он должен быть где-то тут рядом.

Однако по инерции Лагода еще поморгал над планом — нет ли поблизости какого крестика. Вспомнил, что план куплен вчера на Лубянке у мальчишки, который орал:

— Москва обновлëна, не крещена — звездëна!

Лагода сел в трамвай. Как во все последние недели, едва воля падала, его обступала привычная одержимость Гоголем. Она охватила одинокого Лагоду летом в опустелой Москве, погружëнного в свою тему: «*Символисты и Гоголь*».

Лагода вынул записную книжку и прочел выборку из писем — не самое значительное, а то особенное, из-за чего между строк вдруг живьем встает сам человек.

«Высоцкому в Нежин... Напиши, друг, какие модные у вас материи на панталоны, выставь их цену и цену за пошитье... Мне очень хотелось бы синий фрак с металлическими пуговицами, а черных у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не хочется...»

И вдруг: «...Э, нет, я слишком знаю людей, чтобы быть мечтателем...» «Неудачи обравнодушивают всякого...»

Как запевале — камертон, Лагоде теперь нужно только чуть-чуть Гоголя, чтобы войти в него и отождествиться до того, что вот уж он сам попал в роскошный дворец Трощинского в Кибинцы или в руки взял голубой бархатный гроденапль, по которому «маменька» вышивает плащаницу.

В удивительной нашей стране, где, как в фокусе, вроде ветхозаветных прообразов все значительное сперва будто начерно дается в лице одного человека и уже много погодя развертывается в днях истории, Гоголь познавался Лагодой как подлинный отец символизма.

Символизма не как литературной школы, а как *поведения*, как попытки взорвать действительность, до беспредельности раздвинув себя, выпрыгнуть то ли в бога, то ли в чорта...

То обстоятельство, что по линии общественной Белинский расправился с Гоголем, пустив ему «подлеца», что еще крепче укрепило за критиком его квалификацию особо светлой личности, а уже больному поэту нанесло смертоносную травму, — не вскрывало истинных причин гоголева «учительства».

Ни его убеждения в чудовищности его полномочий, ни чувства ответственности перед всем миром, разросшегося до мифологической степени Атланта, собой подпирающего мир.

Нет, нет... этого «подлеца» Лагоде требовалось пересмотреть.

Сейчас учитель Лагода безработный. На бирже. Хоть и лысина у него из тех, что облагораживают облик, прибавляя ему много умного лба, хотя есть утраты, но подумать, при всем том, до чего молодые мечтания!

Лагода задумал связь Гоголя с символистами. Не с теми благополучными, склонявшими за «чашкой чая» на все падежи введенного ими в моду «своего» Христа, не с «ре-фи»-заседаниями, как сказали бы о них сейчас. Словом, Лагода связывал Гоголя не с столицей, которая «устроилась» с трагической темой и састригла с нее разнообразно купоны, а вот, не угодно ль — провинцию? Там, знаете ли, тоже не шутили... Там расплачивались. Самих же символистов Лагода мудрено как-то связывал, вообразите, с комсомолом, с молодыми.

Однако все это *тема Лагоды*. И пусть он о ней сам. В свое время. Сейчас, впрочем, некогда и ему. Трамвай выплюнул его на Лубянке, и в какой номер сесть дальше, он уже, конечно, не знал. Он пошарил глазами милицейского, но вдруг съежился и нырнул турманом в вегетарьянскую столовку.

Ну, что ж он увидел на площади особенного? Грызя, как заяц, введенную врачами «поросячью сечку» — сырые разнообразные овощи, — Лагода проверял через стекла окошек, действительно ли моссельпромщица под «остановкой» была та самая, которую он безуспешно искал с самой осени.

После чистки учащихся Лагода познакомился с этой моссельпромщицей, она же Саня Птахова.

Под забавной домодельной шапочкой, вроде как снятой с чайника, лица не было — горели глаза. Так и запомнились «те глаза». И в них совершенное отчаяние. Сухое, каменное, не зазывающее.

И, помнится Лагоде, он подумал: «Эта не будет моссельпромщицей, эта утопится».

Девушку эту Лагода не мог позабыть. Тогда за толпой он к ней добрался не сразу. А когда был вплотную, к нему от лотка с «мишками» и прочей грошовой дребеденью обернулась уже не та, а совершенно другая.

Лагода поискал девушку всюду и вдруг бросил искать. Не для справки же, в самом деле, утопится она или нет! Он решил девушке помочь, он стал копить деньги. Набралось пустяки, сам истратил, забыл. И вдруг, как раз встретил.

Шапочка была на ней не домашняя — с чайника, а по форме. Он в минуту мысленно досмотрел ее лицо, которого за «теми глазами» совершенно ведь не знал, но как-то помнил, не зрительно. Может быть, так слепой помнит возлюбленную.

Он только знал ее весеннее имя, потому что тогда, осенью, ему на расспросы сказали: «Это, верно, Саня Птахова, но она не тут вовсе стоит, она на Остоженке».

И неправда, на Остоженке ее не было.

Лагода взволновался и решил, как только глянут на него «те глаза», он без проволочек предложит Сане бросить лоток и снова учиться

Он расплатился за «поросячью сечку» и шагнул к моссельпромщице.

— Неужто это вы, Саня Птахова?

Она с удивлением глянула. Ведь она-то его не знала. Это он сам ее выдумал, с провалом, с отчаянием, с потоплением.

— Я Саня Птахова, — просто сказала она, — но я вас не знаю.

Он не объяснил ей, что искал целую зиму. Он, как посторонний, спросил:

— Все торгуете?

Тогда она, принимая его за одного из сотни знакомых незнакомцев, пристающих к моссельпромщицам от нечего делать, весело сказала:

— На фабрику поступила! Сегодня в последний торгую.

Она располнела, закалилась.

«Теперь в жизни она не пропадет», — подумал Лагода, и ему стало жаль того лица, с отчаянием.

К ней подошла товарка.

— Подумай только, Саня... завертывать конфету низшего сорта в бумажку от трюфелей — вот на что способны некоторые нумера из наших!..

Лагода больше не слушал. Огорченный, отошел к Проломным воротам. Отсюда любил он, прислонившись к древней стене, наблюдать толчею всякого люда. Тюбетейки, пятновыводители... ларек с ков-

рижками — «Ось Тарас з Киева». И вдруг раздирательный вопль:

— Нова женска любовь! Нова полова жизнь!

Вот тут-то Лагода увидал трамвай номер 19, вдруг вспомнил, что в него именно надо сесть, и вспрыгнул легко на ходу.

Раздраженный на себя за волнение при встрече с Саней Птаховой, опять Лагода с головой ухнул в Гоголя. Вспомнил малоизвестный рассказ Аксакова, как после смерти гоголева матушка пришла к нему, все еще моложавая и красивая, долго сидела молча, потом раскрыла лежавший на столе том «Мертвых душ» и прочла: «О, свежесть моя... о, юность моя, где ты?» — и залилась слезами.

И у Лагоды в глазах слезы. Подивился, почему при мысли о Гоголе, как ни о ком, такое пронзительное вступает в сердце.

А трамвай уже мчался за городом, и на каждой остановке все больше и больше вытряхивал людей. Наконец в вагоне — только Лагода и две женщины с узелками.

— Мой, милая, домой очень просится. Клятвой клянется, что вовсе пить перестал. Уж очень сумасшедшие из военных его доконали. Всю-то ноченьку, знай, на губах зорю играют, а он вставай — честь отдавай.

— Что военные! И штатские не хужей, — сказала другая женщина. — Моего все под кран водят. «Намыль, кричат, шею, сейчас вешать будем». А как намылит — простят. Не со зла ведь они, даже отведут на время в постелю. Только, говорит, усну, а они опять за свое. Он с «бессонными» сидит.

— Как полагаете, гражданин, — вежливо обратилась женщина к Лагоде: — может проходить запой после именно подобной встряски?

— Но, позвольте, где же мужья ваши? Что за странное лечение?

— А на Канатчиковой, на даче, среди полных сумасшедших.

И рассказали женщины Лагоде (уж что там правда, что почудилось — как узнать?).

Самосильно порешили сторожа: бессонным давать на ночь алкоголиков. Займутся они ими, натешатся и не буйствуют. До утра тихо. А утром сторожа всех разведут по порядку. Докторский обход — все на местах. И пожаловаться нашим алкоголикам нельзя — ведь он взят как вполне невменяемый. Да в случае чего и сторожа, как один, все запрутся.

— Сами заступитесь. Заявите врачам.

— Что вы, гражданин! — замахали обе. — Такая это нашим мужикам острастка! По месяцам не пьют. Хуже, говорят, смерти — игрушкой к буйным попасть.

— Всем, всем, гражданин, удобно. Сторожам отдых, а буйные пьяных, определенно, исправляют...

Стал трамвай на конечной. Сошли женщины, сошел Лагода. Спросили женщины:

— А вам куда же? Тоже в сумасшедший?

— Нет, я так... Я проехал.

И смутился Лагода, — ведь, в самом деле, куда несло?

Солнце садилось в облаках, московское, ярко-красное. Так, бывало, распаренный купец — не презренный «частник», а «сам» — погружал свою персону в белый банный пар.

Итти на Данилово указали проселком. По тротуарам и на мостовой стояли лужи. Одна посреди была огромная, совсем та — бессмертная, у него в Миргороде.

Лагода не заметил, как подошел к кладбищу. Дождик накрапывал, — в лужах заклевали клювами незримые птицы.

— Вот если б к Чехову итти на могилу, подходило бы с дождем. А к нему с солнышком. Так любил его. Довольно того, что мы посадили его на Арбатской площади — под погодой всякой сидит, и не встать. А вот интересно, если б увидал, было бы ему лестно?

Много раз, проходя мимо памятника в сумерки, представлял себе Лагода человека сутулого, долгоносого, в такой же шинели, как у отлитого из чугуна, с такими же волосами, упавшими стеной на упрямой подбородок. Избоченясь, он по-птичьи, как ворон, круглыми глазами высматривал что-то и шептал:

— Ну-те, посадили! Скажите, пожалуйста, и на преходном месте.

И вдруг, как описано у друзей, выхватит из-под шинели свой зонт, распустит над головой и пойдет откалывать вокруг памятника трепака...

Учитель Лагода так сжился с вызванным, воссозданным из мемуаров и писем образом писателя, что тот каждую минуту мог перед ним стать воочию и начать бесчинствовать.

Словом, Лагода расплачивался за свой метод *изучения объекта изнутри* — вживанием в него при слабом интересе к каркасу, собственно хронологическому, и прочему почтенному, — что рекомендует метод иной, по мнению Лагоды, подсобный для тех, кому, как в сказке Андерсона, улетевшего живого соловья заменить надо... системой.

Ну, а за метод Лагоды, как уже сказано, — расплата. Вот посудите, подобает ли в наши дни, например, чтобы сердце забилось сильнее только оттого, что Лагода подходил сейчас к кладбищу и должен был увидать знаменитую надгробную плиту, о которой проходил еще в хрестоматии Галахова, — плиту с известным стихом от Иеремии: «Горьким смехом моим посмеюся». Но сердце у Лагоды билось.

Теперь горело между редкими деревьями от заката таким красным, что можно было подумать, уже возвращаясь к современности, что это полыхают знамена несметного митинга.

Две черные куртки, сидевшие на крылечке дома привратника,

породили такую ассоциацию бессознательно для Лагоды. Куртки сидели и лузгали подсолнухи, плюя шелухой, — кто переплюнет.

Лагода прошел по кладбищу раз и два. Над чугунными крестами было много богатых часовен. Узнал Лагода, что купец первой гильдии Тихон Петров состоял двадцать лет в браке, прежде чем помер. Но Гоголя не было.

Солнце совсем ушло и утянуло пурпурные знамена. Залиловело между деревьями. От дождя и сырья стоял пар. Богатое и безвкусное кладбище, и не найти на нем Гоголя. Спросить у кожаных курток? Но что им Гоголь? Однако, впрочем, может быть иначе...

Вспомнил — когда покупал план, выкрикивали рядом: «Весь Гоголь за полтинник!» Полное какое-то прежнее собрание сочинений распродавал по дешевке Гиз. Из любопытства сам купил посмотреть, изъята или нет фантастика. Развернул. К счастью, ничто не изъято. И «Вий», и «Страшная месть» — все тут. Может, и эти вот читали? Подошел и решительно сказал:

— Ищу могилу Николая Васильевича Гоголя, известного русского писателя.

— А ты нам известным глаза не пяль. Ишь, ровно зонт расчеперил, — сказала одна куртка, перестав плевать семечки.

— А тебе это что — не понять своим чердаком, что не здесь место Гоголю? Это тебе, может, лестно, а ему рядом с подобными буржуями и лежать неприлично.

— Купечество, первая гильдия разлеглась... слепой, што ль? В Даниловом монастыре ищи Гоголя... Тоже — ученый.

Черная рука с сердцем показала совсем далеко в сторону. И оба сказали:

— К вечеру дойдешь, коль не сдохнешь.

— Да ведь именно тут все даниловское, — робко защищался перед новыми пространствами Лагода: — и застава тут, и рынок, и кладбищу б тут быть.

— А Москва тебе на что? Может, в другом каком городе все к месту бывает, а в Москве и за то спасибо скажи, что Данилов монастырь не в Петровское-Разумовское вперли. Ну, довольно, катись!...

Лагода, верно, сбился с пути. Одни пустыри кругом... Вдруг великолепного цвета драконовой крови монастырь. Торжествуя, что набрел-таки, Лагода на минуту зашел внутрь огромного храма с высоченной колокольней.

— Донской это, батюшка, монастырь, не Данилов, — прошамкала на опрос старуха. — Сам батюшка патриарх Тихон тут схороненный.

Лагода вошел. Служили монахи. Своя тут древняя жизнь. Царства

падают. На крышах византийских иных куполов, уже по соседству с крестами возникли антенны — как гигантские журавлиные ноги, а здесь, в глубине, как тысячу лет назад, в тот же час — те же слова.

В положенный миг воздымает дьякон орарь, из царских врат шествует священник, поет хор: «На земле мир, в человецех благоволение». Так пели в годы, когда шли войны — мировая и гражданская. Своя, без перемен, древняя жизнь.

Жара в это лето стояла ужасная. В одних трусах ходили мужчины. Женщины, прикрытые легкими маркизетами, голорукие. На-днях по трамваям скандально прошлась совсем голая парочка с лентой на чреслах: «долой стыд!»

А здесь, в монастыре, один к одному, тесно прижатые, стояли молодые и пожилые люди в черных скуфьях, в клобуках, в мантиях, ниспадавших до пят. Из-под клобуков кудрявились пышные, длинные жаркие волосы. Рядом с Лагодой была монахиня, больная, непомерно грузная. Как янтарный жир осетрины, висели отечные щеки. Изнуренная до дурноты жарой, она обтирала струями катившийся пот. Однако, несмотря на совершенное изнеможение, не приваживалась, даже когда садились все.

Вдруг монахиня зевнула, неудержимо громадно зевнула и пуглисой щепотью трижды перекрестила свой рот, чтобы лукавый не влез.

Лагода выбежал.

Долго еще зря плутал, и только совсем в темноте пред ним забелела ограда с нависшим карнизом. На воротах — жизнь Даниила и пещь огненная с тремя славословящими отроками. При входе во двор — шатровый колодезь, слева кладбище, за старой церквушкой, где уже нет больше служб. Витые колонки подпирают вход. Окна мелкого переплета, низенько от земли.

Пошел Лагода вверх по дорожке перебирать кресты, — и неотвратимо встали последние дни писателя.

...Вот акафист читает над Хомяковой, а на вынос не идет, страшно ему. Смерти боится не только сперепугу, от рассказов «маменьки», а наследственно от отца. Отец так сильно боялся, что и умер не от болезни, а от одного страху. Пожалуй, и он так. Теперь случись с писателем подобное, по евгенике б разобрали...

Памятник Н. М. Языкову: родился в Симбирске, скончался в Москве 20 декабря 1846 года. Для чего-то стал долго и с ошибками вычислять, сколько лет прожил Языков. Тут где-то Гоголь, тут. Вот рыжего мрамора колонка, — под ней Хомяковы. А его нет. Немцы, по фамилии Шкотты, с надписью: «Не по грехам меня суди, Господи, а по милости твоей».

Это прочли вслух одна за другой. Под руку пришли, он и не заметил откуда, две молоденьких. Прыснули;

— И тут протекционизм. Ловко!

Лагода их:

— Где Гоголь?

— А он на Арбатской площади сидит.

— А лежит где?

— А чорт его знает где.

Прыснули, пропали. Панночки-ведьмы? Уж не почудилось ли?

Почти во тьме шарил Лагода наугад. Наткнулся на саркофаг. На нем во весь рост лежачая статуя, спиной к нему. Облокотился, сел рядом. Статуя тоже села, да как чихнет...

И человек густо выразился, — оказался с похмелья. Обратно упал на плиту, круче подвернулся, ноги в крест упер, захрапел. На саркофаге Лагода для чего-то чиркнул спичкой, осветил надпись: «Опочил на шестидесятом году своей жизни»... А кто опочил — стерто.

Насупротив опять рыжий мрамор, на нем опять Шкотты... Закружился Лагода в Шкоттах.

Вдруг перед черной чугунной оградой — большая, — камни ей трамбовать, — *баба*. Стоит и молчит. Корзина со скарбом в руках. Такую бы бабу во двор к «Ивану Никифоровичу»... знаменитую бекешу выколачивать.

И сказал бабе, не уверенный, то ли воображение вызывает гоголевские персонажи, то ли они вправду здесь сами.

— Гоголя могилу я ищу. Слышишь, Николая Васильевича Гоголя.

И вдруг, вместо бабы или из-за бабы, путанно в темноте пискнул кто-то:

— Гоголь, это какой стишки писал?

— Да нет же. Если написал, так все сжег... Он не признавал свои стихи, — в темноту сказал Лагода.

— Дудки! Это он самодержавия боялся. Теперь в ступени у нас учат — у него при царе они запрещенные были. Оттого и сжег, что запрещенные.

— Вздор, — закричал Лагода. — Вы все напутали. Не могут и теперь про него иначе учить.

— Как это так не могут? — распищался голосок.

— Что споритесь? — сказала баба. — Коли грамоте знаете, про такого прописано тут.

— Где тут?

— А тут...

Баба перемахнула за спину скарб и, как верблюд, колыхаясь под грузом, ушла. Вперед выступил скрытый за бабой Гоголь.

Лагода чиркал спичку за спичкой, чтобы лучше рассмотреть чу-

гунный медальон с знакомым носатым профилем. Выходит, как в «Вие» Хома, он был хоть рядом, а скрыт.

Лагода, открыв дверцу ограды, подошел к самому Гоголю. Сумерки слили окончательно очертания. Черный крест вырастал из камня — красноватого гранита. Углубление в нем. Застеклена лампада, сейчас без огня. Над ней резной на меди голубь с распростертыми крыльями; клюв и обе лапки голубя в одну сторону — похоже на мартовский хлебный жаворонок. Под голубем знак первохристиан и надписание:

«По случаю исполнения пятидесятилетия со дня смерти Николая Васильевича Гоголя его почитателями вожжена на могиле неугасимая лампада и установлено *вечное* на литургии ежедневное поминовение».

Еще ниже нагнулся Лагода, не переставая чиркать последними спичками. За оградой опять вперебой: Хи-хи... ха-ха... И дерзостно так:

— Гражданин с сантиментами, могли бы хоть цветочков принесть. Небось намять эксплоатнете? Хе-хе... литератор?!

— Но извиняюсь... — ужасно сконфузился Лагода: — я не мог цветы... цветы, конечно, я не премину. Но почему литератор?

— Уже потому, что литератор.

Закатились смехом панночки — и нет их.

«Здесь погребено тело...»

Тело — многозначительно показалось слово.

«Н. В. Гоголь, родился 19 марта 1809 года, умер 21 февраля 1852».

Высчитал — сорок три года носил тело, как носят шубу. Лежал ли кто здесь до него? Наискось Хомяковы, Языков... Немцы позднее легли.

Совсем близко прошелестел вдруг рясой монах. Лагода прянул к нему. Монах, видать, шел, задумавшись. Он вздрогнул, испугался. Охваченный своими мыслями, без предисловий спросил Лагода:

— Скажите, поминают ли, точно, Николая Васильевича Гоголя за литургией ежедневно, как тут указано?

Последней чиркнул спичкой Лагода, и такой вдруг испуг в лице монаха. И мыслишки такие явные: опрос? инспекция! А вдруг уже есть декрет, что нельзя никого поминать?

И, поджимаясь, белея тонким личиком под клобуком, смиренно сказал монашек:

— Напрасно столь древними покойниками заинтересованы, гражданин. Здесь, поближе к выходу, на гораздо более удобной тропе, лежат не менее именитые, и притом недавние. Вот из музыкантов — Николай Григорьевич Рубинштейн...

Лагода вернулся домой поздно, записывал отрывочно. Сидел долго

на открытом окне и думал или не думал — сам не знал. Чуть забрезжил свет над трубами, потянуло предутренней прохладой, он выбрался на улицу. Побродил и зашел в пятый этаж к поэту Критову, писавшему стихи.

— В экую рань тебя принесло! — открыл двери сам Критов и, потянувшись, зевнул.

Поэт до глубокой ночи писал стихи. И во сне, как нива под ветром, шелестел ему в ухо ритм. Поэт еще не выпил чаю, еще не был водворен своими домашними, прислугой, почтой, газетой в дни недели, в календарный их счет. Он вышел простой, детский, доверчивый, ничем не прикрывая, не удерживая сиянье голубых, чего-то во сне насмотревшихся глаз.

Лагода обрадовался, что он такой, и сказал:

— Я тебя не задержу. Я только сказать...

— Я один, — сказал поэт, — вчера только приехал, а вечером к себе в Ленинград. Все наши еще на даче, даже в кухне пусто. В полдень пойду обедать в столовку. Посидим. Рассказывай, как в Москве!

— В Москве душно. И хоть частый частит дождик, но тут же опять схватывает зной. И не такой, как на юге. Здесь от зноя просто безумие. Вот посуди, вчера на углу Кузнецкого моста мне вдруг почудился берег Крыма.

— Если ты не был пьян, то это — легкость перемещения сознания. Это должно быть у поэта, а тебе — да чорт тебя знает, зачем? Чтобы не в тот трамвай разве сесть. Но все-таки скажи признаки. Почему именно Крым?

— Каменщики на пустыре строят махину... дом — сказал Лагода. — Пойду шататься, обязательно туда попаду. Вчера — лучи солнца отвесны, каменщики голые, в коротких штанах, спины и руки от загара у них лиловые... желтый яркий песок... Лубянка мне увиделась морем.

— Еще что видится?

— А еще на Пречистенке намедни на шестой этаж подымали бревно. Люди вверху зацепили канат за блок, нижнюю веревку кинули на тротуар. Бревно перпендикулярно... Сверху крякнут, снизу крякнут, потянут, продвинут. Толпа большая, и двое мальчишек толкутся. Сияющие, гордостью взорванные лица. Они и знакомым, они и чужим. Не удержать им восторга: «Это мой... мой... мой папанька внизу поддает!» А другой: «Это мой, глянь-ка, вверху!»

— Ну и что? — спросил поэт.

— Ну и все. В расшифровке приблизительно так: тщеславие не знает иерархии.

— Психология, — отрезал поэт. — Это не для нас, это для прозаиков.

Поэт сказал:

— Послушай, Лагода, может, ты там и умное пишешь, только в одиночестве обязательно, брат, наврешь.

— Я для вас же, я для молодых пишу. Им и посвящение. Может быть, даже свободным стихом.

— Да я дело тебе говорю — в одиночестве зашьешься. Вот послушай-ка, Лагода, — перемахивай, брат, к нам в Ленинград. Кооптируем тебя консультантом на предмет самообразования. Кстати, знакомая тебе Нинка Каданова пишет, такой материал про твоих символистов раздобыла — ни-синь пороха не понять! Не звучит, брат, нам — другая эпоха. А тебе и сознанье переключать — не трудиться. Живой ты оттуда — антик. Валяй в толмачи. У нас, брат, славные там ребята — Нинка с Мавриком, Саня Птахова, тоже москвичка, перетянули мы ее.

— Моссельпромщица! — крикнул Лагода.

Он хотел еще кричать так, чтобы поэт схватил его крепко за плечи и держал. А не то прыгнуть бы вон из окна. Но Лагода больше ничего не сказал, только сел на стол и стал болтать ногами.

— Так ты знаешь Саню Птахову? Да, она была моссельпромщица, а сейчас мы ее на фабрику устроили, со мной завтра и едет. Ну, а как у тебя с Гоголем?

— С Гоголем, — Лагода обрадовался, что поэт не зацепил с Саней Птаховой, — с Гоголем, понимаешь, необъяснимое что-то. Крутит меня Гоголь. Едва углублюсь — не туда попаду. То в дом сумасшедших, то в Донской, вместо Данилова. Да ночью для тебя целую записную книжку исписал. Где, бишь, она?

Лагода вскочил было искать, куда запропастил книжку войдя в комнату, и не находил. В уме ведь одно: Саня... Саня Птахова.

Вдруг поэт слегка побледнел и, легко дернув Лагоду за рукав, прошептал:

— А ведь возьмет!..

Глаза поэта были восторженны и безумны. Гвоздили пристально одну точку. У Лагоды мелькнуло: рехнулся. Но невольно он сам уперся туда же, что и поэт.

Окно было широкое, трехстворчатое, с форточкой внизу, в средней раме. Форточка была приоткрыта. И в ней клюв. Огромный, почудилось Лагоде, — серый, каменный.

Клюв стукнул по железу раз, потом по окну, потом по белому крашеному подоконнику. За клювом осторожный выглянул глаз, и, запахивая крылья, как полы вицмундира с фрачным хвостом, выступил ворон.

— *Гоголь*, — сказал Лагода.

Высоко поднимая крепкую ногу, большой черный ворон бочком

протиснулся в угол окна. Здесь лежало в бумажке масло, а рядом чернела клеенчатая записная книжка Лагоды.

Ворон скосил глаз на блестящую клеенку, еще стукнул носом и ступил на нее трехпалой лапой. Тяжело опираясь о нее всем телом, ворон притянул клювом четверку масла. Наладившись, крепко зажал, отталкиваясь для полета, спихнул лапой за окно книжку и черной литой маленькой тучей, тяжко охая, пронес себя на соседнюю крышу.

— Вот это тема,—сказал поэт.—Если б не проклятущий Эдгар По...

— Моя книжка! — воскликнул Лагода и кинулся вниз по лестнице под окно, куда она должна была упасть.

Внизу, откуда ни возьмись, мальчишки. Курносые, шельмовские. Пристали с папиросами. «Червонец» или «Ира»?

— Книжка где? Тут упала...

— А вон дерутся — Жук и Мигай.

Серый дог и пудель зубами трепали книжонку.

Как лепестки белой астры, пролетели в сточную канаву легкие клочья и уплыли под землю.

Подошел дворник и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Победил Мигай. Он — самостоятельный, собака. В голодные годы на станцию Салтыковку самосильно ездил. Мясник его там один кормил. Нажрется и с обратным поездом, как беспризорный какой, тишком от кондуктора, под лавкой обратно. Самостоятельный, собака.

АСПИРАНТКА ЗА ГРАНИЦЕЙ

Нина Каданова, студентка, была командирована с двумя товарищами за границу, но уехать в назначенный день со всеми вместе ей не пришлось, потому что смертельно заболела ее мать, которая вскоре и умерла.

Сейчас Нина сидела в вагоне с алым, как мак, советским паспортом, с невиданными долларами в сумке.

В Берлине — так условились — товарищи должны были прислать на главный почтамт до востребования обстоятельное письмо с дальнейшим маршрутом.

В последний раз перед Негорелым прошел по вагонам пограничник, сверкнув на солнце яркой зеленью воротника, и нэпманка, провозившая под пальто чернобурую лисицу, сказала:

— В постановке старого МХАТа—«Пир во время чумы»—проезжал по улице некто в зеленой маске и так вот заглядывал всем в лица, не заболел ли кто чумой.

С нэпманкой Нина знакомиться не хотела. Нахмурясь, она уста-

вилась глазами в окно. За окном заграницы еще не было. Бежали, вдогонку кустарникам, версты и печальные, однообразные поля. Недавно пережитое, не перекрытое свежими впечатлениями, встало вдруг яркое, как под лучами прожектора.

«...если воля отбросила все традиции, если — по словарю твоих товарищей — человек — смычкин сын, не мудрено, что рука бьет без промаха. Слышишь ты, вы все так бьете, что убиваете...»

Это — мать почти перед смертью.

Хотя при мысли о матери у Нины сердце как воробей, которого мальчишка хвать и зажал в кулаке, Нина упрямо тряхнула стриженой головой и настойчиво решила:

— Пересмотреть.

Впрочем, знала твердо — вины перед матерью не было.

Все время жили вместе, только разгородились. У Нины — стол, стул, железная кровать — вот и все барахло. Конечно, Ленин, на полке гири, трапеция, словом, как от Спарты произвел Маврик, — «спартачка». У матери полно хлама — ковры, сувениры, французские стихи, стенной шкафик, хранивший, как легчайшие вздохи увядших цветов, около сотни пустых флаконов некогда модных духов.

Эту комнату, по обилию реликвий, Маврик прозвал «кладбищем прошлого века».

Мать Зоя Павловна была умна. Она не стесняла: тебе жить, твое время. Нине даже было приятно из своей «спартачки» ходить пить чай в мягком кресле на «кладбище прошлого века».

Но, бывало, два мира сталкивались, как в грозу насыщенные противоположным электричеством облака. И был взрыв. В эти минуты гневом вызванная искренность, как молния, с беспощадной яркостью освещая туманом скрытые очертания, обнаруживала пропасть между двумя мирами, бо́льшую, чем между комнатами, с их несовместимыми запахами — столярного клея, резины футбольного мяча у Нины и букета благоуханнейшей батареи флаконов у матери. Словом, едва отступали нежность и связь долгих лет, как, жестоко враждебные со времени древнего Хроноса, пожирателя своих же порождений, настораживались в двух смежных комнатах «отцы и дети» — культура века прошлого и новорожденная — грядущего.

Запомнилась первая буря, после которой у матери сделался сердечный припадок — начало болезни, ее сведшей в могилу. Нина, сдвинув брови, уставилась в окно; невеселые, однообразные поля не мешали думать. Вспоминала беспристрастно, как будто не про себя, про другую.

Началось это давно, едва стала пионеркой. Мать не препятствовала; конечно, думала, что дальше маршировок и красного галстука дело не пойдет. А когда еще комсомол?..

Однако и тут пошло дальше. С первых же дней прошагнули в новую этику. Постановили в звене: определенно подтянуться, бросить куренье и, для успеха в учебе, ходить в кино лишь на один первый сеанс, чтобы не проспать утреннюю зарядку гимнастикой. Еще постановили: о замеченных насчет кино сейчас же сообщать на сборе, чтоб лицемеров немедленно к чорту...

И вдруг в тот же вечер, идя мимо «Арса», Нина увидала, как Сенька Буриков, оглядевшись по сторонам, взял два билета на последний сеанс. С ним была Лялька, дочь фруктового частника. Когда говорил с кассиршей, Сенька сделал второе запрещенное: чванясь, вытащил буржуйский серебряный портсигар и закурил «Золотой ярлык».

Нина помнит, как сидела вечером за письменным столом в своей «спартачке», как без конца крошила мелко бумагу на светлый круг под висячую ломпу. Ведь из-за этого пустякового случая с Сенькой ей перед самой собой надо было решить очень важные вещи. Мать уже два раза звала пить чай, в третий подошла сама, обняла за плечи, тихо сказала:

— Поверь мне свое горе, ведь вижу я...

Знала Нина — не поймет мать, однако не удержалась.

— Я не колеблюсь, я доложу про Бурикова на бюро. Я знаю, что это справедливо. Но почему... мне так тяжело?

Мать вспыхнула. Лицо еще красивое, с глазами узкими, как у китаянки, стало надменным, и, высокомерясь, она сказала:

— Когда мы видали промахи наших товарищей, то, помнится, говорили только им самим. Мы не докладывали...

Сейчас Нина с такой ненавистью посмотрела на нэпманку, которая из-под чернобурой лисицы, уже не боясь дозора, спорола и соболя, что та поняла осуждение, покраснела и вышла подчеркнуто себя уважающей походкой в салон-вагон. Нина у окошка осталась одна. Пред глазами все так же бежали кустарники и печальные, однообразно-зеленые поля.

Да, тогда Нина крикнула матери:

— Честь вашего класса была в том, чтобы укрывать ваши гадости! А нам, вашим детям, вся расплата? Теперь знаю, отчего тяжело.

— Договаривай.

— От дрянного атавизма. Ваша гниль во мне...

И, не оборачиваясь, вышла одеться, чтобы итти на бюро.

Но в передней еще перехватила мать. Впервые Нина увидела, как она исхудала, как бьется голубая жилка на желтом виске. Мать, глупо не давая калоши, все твердила:

— Я принципиально, я...

И Нина знала: не в калошах дело, — без слов поставлен матерью вопрос:

— Будешь ты делать по-ихнему, если от этого я умру? Сделаешь?

— Да, сделаю...

Уходя без калош, не оборачиваясь, уже словами сказала Нина у самых дверей:

— И я тоже принципиально.

Да, без калош ушла Нина. Бодро, даже весело, как хирург, победивший мешавшую делу жалость, спешит произвести необходимую для блага больного операцию, помчалась она на бюро. Там настойчиво, ради «сработки», корила Бурикова, так что Маврик, отсекр, объявил ей похвалу за сознательную ответственность перед коллективом. Товарищ Маврик еще присовокупил:

— Кто верен в малом, будет верен и в большом. Хотя это из прописей буржуазной морали, но в противоположном классовом применении верно.

С матерью больше не было спора. Мать притихла. Ушла в воспоминания и в хозяйство. Но было напряжение. Жили, как на вулкане. И взрывы все чаще. Например, до чего ерундовский повод — из-за Лермонтова. Товарищ Маврик, правда, зарвался: изыскивая в «Мцырях» протест против империализма, усмотрел его в скрытом виде в борьбе с барсом. Однако что же тут такого оскорбительного для бывшего класса, чтобы ворваться в «спартачку», отнять книгу, закричать: «Уродуйте гениев хоть по собственным экземплярам»...

Или еще совсем недавно. Была директива — чистка служащих по тяге дороги. Ответственнейшая вещь. К тому же то тут, то там засыпались вредители. Много темных элементов поступило на службу — хоть и с биржи, а кто знает их классовую подоплеку? Маврик проведал, что Петька Миронов торговал на рынке, скупал, продавал, — словом, мелкий хищник. Правда, он содержал старуху-мать. Потерять только что полученное место было бы для обоих тяжким ударом, тем более, что опрошенный Петька клялся, что должен торговать лишь потому, что нехватка. Прежде чем сказать в ячейке, Маврик пришел советоваться с Ниной, — Петька одного с ней двора, с детства вместе играли. Конечно, очень неприятно было лишать Петьку места, которое он с таким трудом получил, но директива твердая — чистка аппарата. И неужто всякий раз начинать самоковыряние по линии — антагонизм личности и коллектива?

Нахмурясь и подчеркивая голосом, Маврик сказал:

— Социализм охватывает все подлинные вопросы личности, не вобранными в него, как не свезенный на свалку хлам, остаются только личные капризы и дрянной атавизм. Даже в древние времена, едва гражданин вырастал до правильного понятия о пользе республики, он ей жертвовал всем.

Тут Маврик, помнится, щегольнул консулом Брутом, который, не моргнув, осудил на казнь родного сына.

Этот второй, конечно, тоже пустяковый случай... но благодаря ему обобщение сделано, и раз навсегда проработали вместе с Мавриком самое трудное, то, из-за чего то-и-дело казалось, будто лжешь или себе самой, или товарищам. Сейчас, когда формулировка была найдена, все стало так просто, и, главное, отмелась к чорту эта проклятая, расслабляющая интеллигентщина.

— Пусть на «кладбище прошлого века» захоронен сентимент, — сказал Маврик: — Ему противопоставляем свою формулировку. И вот она: во-первых, антагонизм личности и коллектива — фикция, во-вторых, коллектив самим собою обеспечивает свободу личности, в-третьих, все, что не потребно коллективу, гони на свалку.

И применительно к данному частному случаю с Петькой Мироновым отшиб Маврик всякие колебания Нины поставленным твердо вопросом:

— Ты солидарна с повесткою дня: — самокритика и чистка всех аппаратов — единственное оздоровление Союза? Солидарна?

Нина, конечно, была солидарна. И не только с решением судьбы Петьки Миронова, но и с другим, еще более частным вопросом, поставленным между делами Мавриком: перейдет ли Нина из своей «спартачки» к нему в комнату и когда?

Нина помолчала, взвешивая, сколько времени надо, чтобы приучить к этой мысли без особой грубости мать, и ответила просто.

— Перейду через месяц.

Про Петьку Миронова Маврик заявил куда надо, и его сократили.

Через несколько дней как-то, придя с заседания, Нина застала мать в ужасном состоянии — от нее только что вышла в слезах старуха Миронова. Нина поняла все.

— Она на коленях просила, чтобы ты замолвила перед этим Мавриком. Ведь это ты с ним вместе?.. Скажи, что не ты...

— Маврик со мной советовался, и мы солидарны. В порядке чистки аппарата, как социально вредного, Петю правильно было сократить.

Нина хотела спокойно разъяснить. Мать не дала. Мать кричала безобразно и незабываемо:

Нина нахмурилась. Лицо ее, еще детское, белорозовое, с коротким прямым носом, было до странности без улыбки. На станции дрались петухи, они поддавали себе крыльями пару, наскакивали и долбили друг друга клювами. Нина засмеялась. Смех не проступал на ее лице, как в иных лицах, изнутри, а набегал вдруг. Так накатывает волна, которая то покроет весь берег, то снова сойдет.

Поезд пронесло мимо петухов. Опять надо думать...

Последнее столкновение произошло с матерью уже совсем больной. Хотя вины своей Нина опять не чувствовала никакой, но именно потому, что вспомнить было особенно тяжело — это ненужное чувство, сейчас, в порядке самодисциплины, необходимо разбить.

Квартира была такая, что обедали внизу, а жили вверху. Между этажами винтовая лестница. Маврик объяснял Нине обществоведение.

Вдруг прислушался, бросился вниз, крикнул Домну и дворника.

— В милицию его! — сразу рассвирепел Маврик, держа за руку худого высокого человечка с землистым лицом. Человечек, как угорь, извивался, силясь вырваться. Домна и дворник с хищными разгоряченными лицами навалились на него с двух сторон.

— Пальто украл, — шипела Домна.

— Проучить бы его еще до милиции, как красть! Нынче, пожалуй, их не учат, как, бывало, в участках...

Дворник отступил, чтобы размахнуться, подсознательно веруя, что вора надо бить. Маврик схватил его за руку. Страшный крик мамы заставил всех вздрогнуть. Она, бледнее, чем пойманный жулик, бежала вниз с лестницы и кричала:

— Мое пальто взял, не ваше... Отпустите его.

Жулик наконец понял, что его не будут бить, и, трясясь, вымолвил:

— Я в самый первый...

Он стоял в драной куртке, в холщевых штанах, на босу ногу в старых калошах.

— Толком и убегти не сумел — укорила Домна.

— Не сметь его трогать! — кричала мама. — Моя была вещь. И еще даю, еще...

Мама срывала с вешалки шапочку, муфту, платок, сыпала из кармана деньги, торопилась, уже задыхаясь от подступавшего припадка.

— Берите... идите!

Сама открыла дверь и, как безумная, уже не в силах остановиться, кричала, когда человека и след простыл:

— Не сметь его трогать! Не сметь...

Потом ей стало дурно, на руках ее внесли в комнату.

Нина вспомнила запах туалетного уксуса в полутемной комнате матери, вспомнила, как на другой день вечером, когда пришел Маврик, мать вдруг сама захотела его увидать. Они оба ошиблись, ее не пришлось ни к чему подготавливать. Зоя Павловна все видела, все поняла и сказала Нине:

— Не считайся со мною, уходи, когда хочешь, только б была счастлива.

Маврик вошел в комнату матери и, от старанья итти тихонько на цыпочках, тяжело протопал к кровати. Он стоял, руки назад, чтобы чего-нибудь не задеть, длинный, с непокорным чубом, дававшим тень

огромного клюва на песочного цвета драпировке. Мать на него глянула робко, с опаской, но Маврик предупредительно сказал:

— Не волнуйтесь, пожалуйста, я грубым быть совсем не хочу. Мы с Ниной решили строить совместно нашу личную жизнь. Быть может, ей будет возможно не расходиться и с вами. Для этого необходимо установить между нами тремя полнейшую искренность в высказывании оценок. Вот для начала я скажу о вчерашнем. Если вы солидарны по существу с сентиментализмом Виктора Гюго, — отдавая жулику необходимое вам пальто, вы показали свое единомыслие с известным епископом из «Отверженных», — то я должен сказать вам следующее: подобный взгляд еще может иметь какую-нибудь собственную ценность, если он выдержан и доводится до конца. Но в таком случае у вас не могло бы сохраниться ни этих драпировок, ни ковров, ни всех остатков былой роскоши, свидетельствующей против вас. Значит, вы даете только в том случае, когда чужая нищета вас бьет по нервам. Ну, это — извиняюсь — яйца выеденного не стоит. Если хотите, я могу вам доказать, что пауперизм может быть ликвидирован только одним осуществлением социалистического строя...

Мать приподнялась, волнуясь:

— Пока строй осуществится, разрешите чувство... Навсегда сил не было, так хоть иногда...

Она вдруг ослабела, махнула рукой, откинулась на подушки.

Маврик вышел, совсем по-детски смутясь. Нина знала, что он говорил с самыми лучшими намерениями, и нагнулась к матери, чтобы Маврика отстоять.

— Ведь искренность — признак настоящего уважения.

Но Зоя Павловна уже не могла поучаться. Она судорожно удержала руку дочери, притянула к себе и сказала с последним усилием, как бы слагая с себя всю ответственность:

— Поедешь за границу, повидай отца, главное — Таманина, он скажет тебе...

Нина оборвала мысли. От Варшавы до Берлина все подсаживались немцы. Они стали говорить по-немецки, и в вагоне наступила заграница. Стало жарко от ослепительного солнца, задыхались. Уцелевший с Варшавы поляк встал и, с разрешения всех, открыл окно и с противоположной стороны. От необычно нарушенных правил люди впервые улыбнулись друг другу, и с умилением выдохнула толстая фрау:

— O, wie süss die frische Luft.

Но идиллия была мимолетной. Из-за угла рамы вдруг просыпалась какая-то мелочь. Немцы чиркнули спичкой, нагнулись и — Pfui... Wanzen!..

Призвали проводника, брезгливо тыча в легкую кучку прошлогодних клопиных шкурок, заметных только потому, что они упали на розовый глянец бумаги — мешочек из-под печенья, который сентиментальная немка себе положила под ноги, чтоб не испачкать ночные туфли об пол. Когда багровые и сердитые немцы стали наседать на неповинного проводника, Нине показалось — забавная инсценировка в кино. Наконец проводник-поляк впал в гонор и отрезал, что эти клопы совсем не клопы, а уже если и были клопами, то не варшавскими, а интернациональными — всякий ездит теперь... Это могли быть клопы даже желтой расы.

Есть о чем спорить?

И Нина, вытянув ногу в тяжкой туфле от советского Скорохода, растерла клопиные шкурки.

Немцы успокоились, однако, только купив на станции большие флаконы с одеколоном. Они развели в купе благоухание. Нина впервые сообразила, прочтя «Eau de Cologne», что одеколон означает — «вода из Кельна». Вмиг разбилась неподвижность лица — дрогнул кончик крепкого носа, и прыснула Нина, *как девчонка*. Она-то считала его одним словом — одеколоном.

Таманину, старому другу своей матери, Нина нарочно не дала телеграммы о том, чтобы он ее встретил в Берлине, — ей надо было собраться, одной освоиться в новом, словом, не «покривить», растерявшись, своей крепкой советской линии.

Огромный шнельцуг подкрадывался неслышно, как в спальных туфлях, к станции. Не дрогнув, без всякой постепенности, он стал вдруг. И дюжие заплечные мастера, сановитые берлинские носильщики, завладели багажом пассажиров.

Нина отдала себя в распоряжение рыжей Валькирии, девицы-бухгалтера какого-то торгового дома на юге Германии. Они вместе ехали от Варшавы, и девица отлично знала Берлин и предложила быть гидом до вечера, когда ей придется уехать.

В огромном кафе, на спиритических легких столиках, млели в вазочках анемоны необыкновеннейших колеров. Вокруг столиков, как бегемоты, осевшие на собственный хвост, стояли плотные беспросветные кресла в обивке темного бархата.

Потонув в бегемотовом кресле за чашкой кофе со сбитыми сливками, Нина отдохнула, и упрямо стала ее грызть мысль о том, что откладывать свиданье со «старым миром», пожалуй, малодушие.

Конечно, и отец и Таманин будут соблазнять заграницей, но, чем прятаться, лучше прямо итти навстречу событиям. Нина решила — едва уйдет Валькирия, звонить Таманину тут же, с вокзала. А пока пустилась с Валькирией бродить по гартенам и бесконечным аллеям, где на старых каштанах еще крепко держались, как белые свечи, цветы.

В Тиргартене памятник-кукла Августе-Виктории, в безвкуснейшей моде восьмидесятых годов, открывала маниакальное помешательство немцев на надписях. Со всех сторон были дощечки и запрещения: «Собак не водить, детям не шуметь». Или лапидарно обобщающие: «Ни собак, ни детей». Или вдруг у скамьи, такой же точно, как всякая скамья: «Тут нельзя сидеть нянькам!»

Нина хохотала. Валькирия не понимала — чему? Однако проходивший мимо молодой полицейский оказался нежданно остроумнее и, с несвойственной его землякам быстротой угадав причину веселья иностранки, рассмеялся сам и пояснил, тыча в буквы:

— Нянькам запрещено по той причине, что они знают один фокус, как отвлечь нас, «шупо», от прямых наших обязанностей. А наши обязанности, фрейлейн, охранять памятники и близлежащие знаменитые здания!

Рыжая Валькирия повлекла Нину дальше — к грандиозному берлинскому Мюр-Мерилизу — Ka-De-We — ну, конечно, на выставку дамских нарядов. Моды сезона: цвет небесно-голубой, цвет Мадонны — Madonnenblau — рекомендовался шикарнейшим платьям, а на их отделку — не менее модная шкура обыкновенных коров. «Симплициссимус», продаваемый тут же в киоске, ядовито философствуя, синтезировал по поводу этого симбиоза на первом листке: «Неслыханный диапазон! — От вечной женственности до хлева». На рисунке — мечтательный бурш, распростертый у ног Сикстинской Мадонны с томиком Фауста в левой руке, правой держался за хвост коровы. Бурш, что было глотки, орал по Фрейду: «Вытеснение материала, дополненное извне, — то есть в наших дамах — Мадонну дополняет корова!»

По тротуарам лавиной шли немцы, каждый с собакой, — здесь особо возлюбленный дог.

— Мы любим собак, — сказала Валькирия, синея глазами, сверкая на солнце стремительной рыжей короной волос, всей своей особой суля что-то значительное, изрекла как откровение: — Собака верна и потому мы любим собаку.

— Der Hund ist treu, — по-немецки повторила Нина. — Да, это моя первая фраза по самоучителю.

И, выбрав огромного серого дога с важной походкой, смеясь пошла с ним нога в ногу.

Немка же не смеялась. Немка была Ниной шокирована. К тому же ей было время ехать дальше, и она церемонно просила, чтобы Нина из Советского союза республик прислала ей письмо: — потому что революционные марки вашего Союза сейчас в большой моде, — пояснила она и уехала, отмахав из окна белым платочком добрые четверть часа.

А Нина, как себе назначила, не желая медлить, прошла в будку — по телефону вызвать Таманина.

Странно услыхать голос родного покойника в фонограф, особенно, если он бросил шутя, как однажды нинина тетушка, чтоб отвязаться от приставаний, подобный, несоответственный ее стилю стишок:

Ходят гуси, ходят утки,
И зачем идут они?
Чтоб набить свои желудки
И спокойно кончить дни.

Тетушка в жизни была строга и мрачна. Умерла, сложив руки, по правилу, с зажженной свечой, при соборовании. Осталось после нее много темных образов, четок, целебных просфор с вынутой частицей — аттрибуты веры в потустороннее. И вдруг из жерла фонографа, из черной безглазой дыры, вроде какого-то люка в новую резиденцию тетушки, столь безапелляционно материалистическое утверждение ее голосом.

Сейчас такой же нелепицей, такой же издевкой прозвучал Нине в телефон голос Таманина — не тот голос, который запомнился, налитой силой и чувством, в день, навсегда памятный, когда в Детском Селе перед госпиталем рвались снаряды, бежал Керенский, и спешил по курской дороге белый генерал, Таманин умолял мать Нины, забрав ее, бежать всем троим через финскую границу. Сейчас дребезжал в ухо беззубый шамкающий лепет, — Таманин приглашал Нину в кафе «Фатерлянд».

В кафе «Фатерлянд» был тот час, когда немцы поглощают не пиво, а эйс-кафе — вкуснейший замороженный кофе со сливками. Полно было приказчиков, мелких служащих, бухгалтеров больших домов, преимущественно молодых, еще не раздутых пивом. Впрочем, были и раздутые. Тучные, сырые, как на полях орошения взращенные овощи, грузные, огромные, непрочные. Вспомнились Нине гигантские турнепсы советских голодных лет. Одни все чистились перед неприятным зеркалом в золотом обрамлении, хорошились, снимали друг с друга пушинки. Другие, за столиками, не опрокидывая разом «боки»' с пивом, мелкими глотками под вальс «Raskolnikoff», отпивали русскую антимилитаристскую водку «Nikolachka».

Рядом с Ниной сели за соседний стол шумные студенты. Они расхваливали невероятно, как отечественную модную гордость Постдаммерплаца, одноглазую башню — «Verkehrsturm», которая, смигивая огни — желтый, красный, зеленый, дает этим знак соответствующим трамам двигаться.

— О, мы сделаем на маскарад нашей Берте костюм Verkehrsturm. Она возьмет первый приз.

— От всегоферейна — идет. Prosit!

Они чокались, смеялись, пьянели. Оркестр переиграл весь репертуар и вернулся к глупому вальсу «Raskolnikoff». Таманин не шел.

То есть так думала Нина, не отрываясь взором от главного входа. Между тем Таманин уже пришел с бокового и на минуту, тоже волнуясь, остановился у колонны под люстрой. Ему еще трудней было узнать Нину. В семнадцатом году, когда он ушел, ей было всего десять лет — теперь девятнадцать.

Первая узнала Таманина все-таки Нина по его особому русскому виду, с опавшими, как бы лишенными подтяжек, брюками. Она махнула ему платком, и тотчас поспешно Таманин стал пробираться через немецкое засилие.

Нина, отлично помнившая Таманина, хватким глазом учитывала перемены в его внешности. Весь седой, потолстел, опустился, а по носу, когда-то вычерченному тонко, с «крылатыми», как мать говорила, ноздрями, теперь разбухшему в красных жилках, Нина увидала, что, конечно, Таманин пьет.

Он навстречу протянул обе руки и, взгляд его был как у одинокого человека, которому больше некуда итти, негде помещать свою нежность. Нине стало жалко его, как бывало в детстве, когда на маму «находило» и она по месяцам не хотела его видеть. Едва Таманин входил, мама бежала из дому, он долго с Ниной один играл в детской, и Нина звала его «другая няня».

— Здесь мы будем свободнее, чем на каком угодно пустыре, — сказал Таманин, усаживая Нину за столик. — Тут все заняты собой или соседкой. Спросить эйс-кафе и хоть до ночи.

Говорить было им так много и о таком важном, что они молчали. Таманин, унимая сердце, непомерно расшалившееся, полушутя попробовал проверять эмигрантские сплетни о гибели Союза, о голоде. Сильно покраснев, Нина сказала:

— Я так даже в шутку не хочу. И вообще... если вы злобный эмигрант, то говорить нам не о чем. Я обещала матери вас повидать. Ну, повидала. Вот и все.

— А я не знал, что вы так молоды, или так боитесь за себя.

— Здравствуйте... начинается провокация... и Eiskafe не дали проглотить.

Нина почувствовала себя сильной. Таманин не казался опасным. Но проснулось к нему то старое чувство брошенного ребенка... В детстве Нины было много ей непонятного. Впрочем, уже года два было все равно. Вот Таманин напомнил. Он просто сказал:

— В конце концов вы можете повидаться не с неизвестным вам эмигрантом, а с «другой няней». Помните, вы меня так звали в отличие от настоящей старой няни Дуни.

— Походимте по городу, и вы мне все покажете, — прервала Нина, не желая вспоминать свое непонятное и трудное детство. — Только, пожалуйста, вон отсюда... Здесь так глупо... этот вальс Раскольникова! Кажется, могли б почтить Достоевского и не такой ерундой.

— А у нас еще до войны появилась водка в стеклянном Толстом — чем лучше? Толпа начинает любить героев и гениев ведь только после того, как съест их с кашей. А сейчас у вас, выражаясь по-газетному, «особая ставка» на то, чтобы сбить уважение, уничтожить пафос расстояния, всю былую иерархию интеллектуальных оценок...

Он спохватился:

— Прости, Нина, не буду. Но если я «другая няня», то можно звать тебя, как в детстве, на ты? Хорошо?

Они вышли на добрую мещанскую Аусбургерштрассе, где на всех углах стояли слепые инвалиды со своими собаками.

— Немецкие овчарки, — узнала Нина. — Но какие на них смешные пальтишки с красным крестом!

— Это собаки — братья милосердия. Они выдаются слепым от правительства. Через каждые два года собаки эти должны отдыхать в собачьей санатории, иначе, вообрази они сходят с ума от слишком большого напряжения за человека.

Пес стал переводить слепого через улицу, озираясь по сторонам, держа его зубами за полу, лавировал между автомобилями, как нянька, не теряя ни на минуту из виду своего инвалида.

— Ты знаешь, когда этакого пса выдают слепому, то он обязан со всей откровенностью сказать, любит ли он животных. Если не любит, то лучше пусть не берет. Один вот такой пес, не любимый хозяином, нарочно подвел его под трамвай с какой-то особой собачьей хитростью. Еле кондуктор остановил вагон...

Потом осматривали статую Бисмарка, университет, где сидел печальный, будто больной печенью Момзен.

Невесело было Нине и Таманину. Стояли между ними искусственно сдерживаемые вопросы. Нину не оставляло чувство, что преступно ей так вот шататься по Берлину хотя с не злостным, но все же эмигрантом.

С тех пор как стала она комсомолкой, во всех важных случаях жизни Нина, чтобы не ошибиться, воображала себя внутренно не собой одной, а как бы состоящей из ребят — Сани Птаховой, Маврика и поэта Критова.

Это были ближайшие — они дополняли друг друга. Из двух на-

чальных слогов их имен Нина сделала для себя коллективного человека, который назывался вроде самокритики — Са-Ма-Крит.

Никому не признаваясь, совсем по-детски, может быть храня смутную память об «ангеле-хранителе», насаждаемом в раннем детстве няней Дуней, Нина мысленно отгораживалась этим новым защитником от атавизма, который, боялась она, здесь, в единоличной встрече со своим, по анкетной графе, бывшим происхождением, как бы не заставил ее сдрейфить.

Сейчас вдруг сказалась усталость от длинной дороги, думать ей стало трудно, и она просто обрадовалась, когда Таманин предложил ей тряхнуть стариной и, как бывало ходили в детстве в зверинец, отправиться вместе в Zoo.

В Zoo была очередная сенсация — львята. Львица-мать умерла, а ее щенят выкормила овчарка собака-мамка. Толстый сторож держал полную охапку чудесных мохнатых, толстолапых зверей. Они, как котята, ходили по рукам. Сторож, вопил, умоляя gnädige Frauen их не зацеловывать до-смерти. Отец-лев с обычной царственной ленью смотрел одним глазом на баловство.

Перед клеткой с обезьянами целым табуном толпились какие-то сектанты. Прежде чем взглянуть на зверей, они распытывали у своего вожака:

— А что говорил наш учитель именно про обезьян?

И вожак, глядя в потолок, монотонно наизусть отвечал:

— Учитель говорил про обезьян следующим образом: — Это наш впавший в деградацию младший брат. Он кармически отбывает в клетке свой грех.

Небольшая обезьянка любезно подошла к самой решетке, держа как шлейф, собственный хвост. Но едва Нина протянула сквозь прутья ей руку, чтобы поздороваться, обезьянка схватила ее сумку и по веревкам махнула вверх на трапецию. Там, изодрав ее вдребезги, она стала крошить ее на головы других обезьян, а содержимое сумки распределила так: документы положила себе под хвост, а пфеннигами набила обе щеки.

Публика хохотала, а львиный сторож подошел к Таманину и строго сказал:

— Gnädiger Herr, вам придется уплатить полную стоимость обезьяны в том случае, если она проглотит пфенниг вашей дамы. Обезьяны имеют нежный желудок. Обезьяны от подобных закусок могут умирать. Такой случай у нас уже был. Я попробую перехитрить Зизи, но, не правда ли, вы понимаете, что за это особая плата?

Сторож вошел в клетку, набил пфеннигами собственный рот, так что усы прыгнули кверху и стали торчком, как на портретах у кайзера. Обезьяны всем выводком напряженно следили за ним. Когда

внимание их окончательно сосредоточилось, сторож по одному стал вынимать изо рта пфенниги и бросать на землю. Хитрость его удалась. Маленькая обезьянка Зизи последовала его примеру и тотчас похудела на обе щеки. Сторож из пиджака выронил белый конверт на желтый песок клетки. Зизи тотчас нащупала под хвостом документы и столкнула их вниз.

— Стачка у них тут с обезьянами, сообща действуют, — ворчал Таманин, платя сторожу немалую мзду.

Забрели опять в ресторан. Здесь уже привычным размашистым жестом Таманин стал опрокидывать в себя пиво и болтал в паузах, что попало, потому что Нина говорить не хотела.

— В этом ресторане еще не так давно в качестве аттракциона держали посреди в железной клетке так называемого Hungerkünstler'a, по-вашему — спеца по голоду. Он побился на пари с англичанином, что сорок дней не будет есть. Ну, конечно, ресторан воспользовался им как рекламой. Вообрази, за немалый куш этот спец согласился проделать свой опыт публично, здесь посаженный в клетку. Ежедневно в часы обеда за двойную цену немцы садились вокруг него и поглощали свой шнель-клопс. Спец пари выиграл, разбогатели оба — и ресторатор, и он. Но на второй сезон власти спохватились, художника по голодовке изъяли, отнеся его в рубрику разложения нравов и порнографии...

— Ну, и что же? Подобная «культура» вам все-таки больше по душе, чем то, что у нас?

Таманин пожал плечами:

— В клетку я не сяду и к ней не придвинусь с шнель-клопсом. Но, кроме клеток, выбор не мал. Здесь я могу доживать как обыкновенный человек, могу не лгать, что утратил веру во что бы то ни было. А у нас на родине обыкновенным человеком быть больше нельзя. Однако ты, Нина, устала, — опять спохватился он. — Пойдем, я провожу тебя в отель.

— На то, что вы сказали, я вам отвечу. Вы зайдете ко мне, — сказала жестко Нина.

— Я и сам думаю — без настоящего разговора не обойтись.

Они вышли. Уже были сумерки, и вспыхнуло электричество. На перекрестке то зеленым, то красным дразнил глаз феркерштурма.

На углу Нину поразила высеченная из камня, забавно приделанная ко второму этажу фигура почтальона в тирольской шляпе с пером. Он трубил прямо в небо, как ангел страшного суда.

— Прежде здесь посылки по домам развозили вот такие почтальоны, — сказал, указывая на него, Таманин. — Старинный этот обычай держался до 25-го года, я еще застал его. Именно в ту зиму, как я сюда попал, их здесь уничтожили, создав на прощанье,

чисто по-немецки, грандиозное шествие «последнего почтальона». Все шли в костюмах разных эпох, от возникновения почты до ее последних дней. Лошадки в венках, желтые смешные кареты. Сейчас это уж фильм. Если хочешь знать — меня в Европе прельщает именно это...

Подошли к пансиону фрау Кардель. Таманин помог Нине управиться с системой ключей. Наконец последняя из многих дверей отворилась. По коридору Нина провела Таманина к себе и, щелкнув выключателем, спросила:

— Что же именно вас в Европе прельщает?

— Почетная сдача традиций, культура чувства, благодарность своей истории...

Нина резко прервала:

— Культура, при которой насилие над рифами, захват колоний зовется цивилизаторством?

— Ах, Ниночка, ну зачем ты строчишь как газета... не сердись, дорогая. — Таманин вынул часы. — Мне ведь через полчаса итти на всю ночь в здешний кабак, — я там ради буарманже — вторая скрипка. Не знал, когда университет кончал, что в поганом оркестришке буду... Кабак третьесортный.

Нина представила себе, как этот пожилой человек каждую ночь играет на потребу всякого сброда, человек, который в детстве казался ей умней и добрей всех на свете, и ей стало за него обидно.

— У нас бы этого вам, дядя Том, не пришлось... Ну, зачем вы уехали?

— Я, Ниночка, иначе тогда не мог. Но прежде одна просьба: когда ты вернешься домой, пойди на чердак в ту кладовку, где хранился всегда мой дорожный погребец. Да есть ли еще?

— Тот, что подбит лиловой кожей? Конечно жив, никто его не трогал. Но я бы не хотела интимных поручений, — нахмурилась Нина.

— Ох, горе с тобой... И жить торопится и чувствовать спешит, — ты дослушай хоть до конца. Ведь не для тебя это только, — для всех молодых. Двойное дно у того погребца — дедовские затеи. Нажать пуговку сбоку — дно отскочит. Там записки. Я их целый месяц писал перед тем, как мне уйти...

— О чем же записки?

— В двух словах не скажешь — о любви и смерти, о том, что именно в жизни множит дары человека и чем он себя опустошает.

— Дядя Том, да ведь ваше поколение уже попало в тупик со всей этой дребеденью. Да нам и времени сейчас нет ваше старое просматривать.

— А найти время надо, — сказал неожиданно строго Таманин, —

кроме классовой морали, есть и просто человеческая. Двадцать веков до вас трудились. Да, мы точно со всем этим багажом попали в тупик. и я даже рад, что ты скоро увидишь последнее вырождение и предел там, у отца, в Тулузе. У тебя будет знание, каким путем окончательно *не надо* итти. Но узнайте же и про то, что было в нас ценного, чем мы были живы, что мы сберегли... Да вам. Ведь не из вас одних — *из нас и вас* — создастся в будущем та полноценная равнодействующая...

Таманин слабо махнул рукой.

— Словом, все, что знал, написал в виде повести.

— Мне всегда казалось, что между всеми вами и мамой были какие-то тайны, но, простите меня, мне сейчас до всего этого очень мало дела. Я и собственной-то психологией не хочу заниматься.

— Тем более — чужими. Но, как я уже сказал, кроме темы интимной, в моих записках — картины нравов и быта, отмеченные современником. Короче — годы символизма.

— Что же, от этого мы не отмахнемся, у нас ориентация на культуру. Хорошо, дядя Том, мы ваши записки добудем. Контрреволюции, надеюсь, нет?

ДУХИ ДАТУРА

Суровые шторы стрельнули кверху. В окно глянул день, а со стены прямо на Нину из золотых рам — целых три кайзера. Вчера фрау Вурм представляла их в рифму: самый старый, с пробритым подбородком, который, как твердая репа, торчал между белых бакенов, был дедушка — der greise Kaiser, сын его, в окладистой русской бороде, в молве слывший умником — der weise Kaiser, и, наконец, третий — внук, с усами собственного имени, ставшего для усов уже именем нарицательным, высматривал бочком из-под прусской каски. Казалось, он все еще соображал, каким новым фортелем расцветить ему свою биографию коммивояжера и дилетанта разнообразнейших искусств. Этот был — der reise Kaiser.

Нина села на полуторную кровать фрау Вурм, свесила ноги и задумалась о последних словах Таманина. Вчера у самой двери он на минуту еще обернулся и сказал:

— Однако преимущество *плохого* коллектива над *хорошим* человеком еще надо бы доказать. Если не мне, то хоть себе — доказать из самоуважения. Гуртом ценятся только овцы, человеку же подобает оценка качественная.

— Вам доказать нельзя, а себе не имею потребности.

— Веруешь? Так и запишем — *новая вера.*

Как передать, чем защитить перед чужим то, что для тебя знаешь уже не словом, не мыслями, а вроде как свое кровообращение? Перед Ниной встали Саня, Маврик, Критов. Как когда-то тургеневской Лизе — темный лик спаса, ей, Нине, — Самакрит.

И тотчас, как на охотника долгожданный заяц, вдруг из такой знакомой серенькой книжки с черными буквами — Фейербах — подмога:

«Философы изучали мир, но дело в том — чтобы мир переделать».

Нина вскочила, сдернула рубашку и всем тоненьким крепким телом с особой радостью стала делать утреннюю зарядку. Она подставляла под счет:

— Раз — мы. Два — не вы!

Облилась в ванне холодной водой, растерла до пурпура тело мохнатым полотенцем и, накинув рубашку цвета Madonnenblau, вчера купленную в Ka-De-We, докончила полностью свою мысль:

— Да. Переделаем мы, а не вы. Одному переделать нельзя. При подобной ориентации, коллектив — это все. Вот.

Оделась быстро, побежала на почту. Наконец — два письма. Оба с французскими марками. Одно от товарищей из Сент-Этьена, другое от отца из Тулузы. Свои были уже на работе. Прислали подробную инструкцию как добраться. Отец уже прислал деньги и просил немедленно ехать к нему. Нина высчитала: с вокресеньем и праздником взятия Бастилии у нее есть два свободных дня. Она решила, что удобней отбыть свиданье с отцом сейчас с тем, чтобы больше ничто не мешало изучать быт французских рабочих и новое дело. О своем отъезде сказала по телефону Таманину. Он просил дождаться его, чтобы пойти вместе брать билет. Скоро Таманин пришел и, немного стыдясь своей радости, объявил, что взял в свой кабак заместителя и едет сам до полпути провожать Нину.

— Только знаете что, дядя Том... — и, краснея от мысли, что говорит не то и не так, Нина выпалила одним махом: — ни сентиментов ни самоедства. Нам сейчас впору этим только печку стопить...

— И пусть над нашим смертным ложем взовьется с криком воронье... Так-с... — согласился Таманин. — Те, кто достойней... Это — вы, стало быть. С выхолощенной психологией!

— С выхолощенной *вашей и с новой* нашей — отрезала Нина. — И баста. Идем.

Вечером, когда уже сидели в вагоне друг против друга, Нина протянула Таманину письмо своего отца.

— Разъясните, что в подобном за смысл? Он еще и понятия не имеет, что я за птица. Даже физически мы сейчас не узнаем друг друга. Уговорились, что я пурпурный бант нацеплю на зонтик,

подыму и буду ждать у вокзала. А он уж предписывает какую-то ерунду...

Таманин прочел:

«Ввиду того, что тебе предстоит важнейшее решение жизни — окончательный выбор между «ими» и «нами», от чего зависит не только твоя судьба земная, но и участь *загробная*, — нахожу необходимым, чтобы ты остановилась в Лиможе и прослушала воскресную проповедь знаменитого аббата Дюфона. Утратив у себя на родине беспристрастность суждения о культуре Запада, ты должна поторопиться узнать, на каких глубоких основаниях держится его мораль».

— И он всю эту директиву накатал только потому, что он так называемый мой отец? А мне на него чихать... Да, я уверена, что у меня с ним ни одной общей хромозомы нет. Дядя Том, объясните, что это за чудак?

— Я никогда его не любил и потому от мнения воздержусь. Во всяком случае, его неизменное эпигонство, та же провинциальная пародия на модную богословскую тему, как была в молодости на тему эстетическую.

— Но какое у него дело в этой Тулузе?

— В чем дело его жизни?.. У меня и слов-то нет подходящих. Впрочем, если не сам, так Лазарь Давыдович, меценат его, не преминет изложить. Жаль, ты увидишь, повторяю, эпигонов. Впрочем, по ним еще ярче можно судить о вреде отрыва... — Таманин оборвал и с болью выговорил: — о трагедии эмигрантства. Лазарь Давыдович и деньги дает на соответствующий духовный журнал. Лазарь Давыдович премилый человек, ницшеанец. Он из тех евреев, которые накопляют, пока у них мало, но как только станет много, они бешено раздают. Притом часто капризно и совершенно неожиданным образом. Так ницшеанец сильнее заявляет свое своеволие, покровительствуя ни на чорта ему, да и никому на свете, не нужным «Звонарям духа», как они себя окрестили. Все сама увидишь. А про Тулузу предание такое. Древняя Tolosa — галльский город. Она процветала, видишь ли, по причине священного озера, куда паломники бросали жертвы богам, а впоследствии богу. Полководец Сципион спустил озеро и выбрал из него все сокровища. Конечно, молва именно этой финансовой операции, как святотатственной, приписала все несчастья, которые в скором времени посыпались на древнего вояку. Эту забытую миром легенду отец твой где-то выудил и вздумал серьезнейшим образом почитать. До чего характерно для несчастной русской бездомности! Вообрази, он придумал себе, что это *перст божий*, что именно ему, Каданову, надлежит, начав с этой вот *Тулузы*, возвращать всему миру сокровища,

забранные варварами. Эскапада сципионова для него, конечно, прообраз. Как-то он мне раскрыл и в прообразе заключенный символ. Ну, разумеется, это не что иное, как сокровища культуры и гуманизма, попранные новыми варварами — вашим Союзом.

— Да отец все-таки что же — сумасшедший?

— Сама, говорю, суди сама. Через несколько часов мне выходить, а тебе пересадка в Тулузу, — маскируя печаль бодростью, сказал вдруг Таманин, — Увижу ли еще тебя?

— Мы с Мавриком выпишем вас, дядя Том, в домхозяйки. Хорошо? Мы, знаете, ориентируемся сразу на здоровую семью. У нас будет мальчик, вы, как дедушка его будете пасти целый день, — хватит возни, и общественно-вредным стать не поспеете...

— Хоть нянькой, хоть дворником, только б на родину... Если даже Пушкину не было глупо хотеть лежать «поближе к милому пределу...»

— А по-моему, и Пушкину неумно. Другое дело — жить... Помирать же — плевое дело где.

— Не понимаю тебя, Нина. Если ты столь свободна от всяких сантиментов, что же, спросить, за дьявол гонит тебя давать такого крюку, чтобы повидаться с «так называемым отцом»?

Нина нахмурилась.

— Матери я обещала. И еще перед своими товарищами обязана. Ведь я не то, что они, я не из *целого куска*. Потому-то мне ваше старое и досмотреть надо. Дрянь отвалится, а стоящее снесем в свою берлогу. А мать меня растила... Бывало ночи над шитьем... Это не забывается. Между тем, этот сверхиндивидуальный отец, ведь только когда ему чихнется, деньги присылал. По полугоду без гроша сидели. Голодали, если б не вы, дядя Том..

Я, впрочем, больше росла на улице, чем дома, и в этом, конечно, мое счастье. Но все-таки многое, из-за чего мучилось ваше поколение и что для моих товарищей только непостижимо и дико, мне хорошо известно благодаря матери. Как, бывало, придет толстое письмо от Каданова, у нее все из рук валится. Обхватит меня и шепчет: «А вдруг у нас сейчас, правда, царство антихриста? Ну как тебя удержать? Ведь пойдешь с Мавриком в загс. Ведь совсем *ихняя* будешь. А если погибель?.. Сними с меня тяжесть. Обещай, что увидишь отца». .

Едва заговорили про командировку, все самое заветное продала. Вот видите, должна же я хоть поинтересоваться, что такое этот «отец» и кто за ним. Небось, не сглазит он меня, опоздал. Даже Маврик эту встречу одобрил. Пусть, говорит, монету гонит на заезд в Тулузу, да побольше. И валяй себе по французским пространствам. Что городов мы с ним вместе наметили!

— Рассудительны очень стали, — сказал, понурясь, Таманин, — а вот мы все дураки, все мечтатели...

— Та-та-та! Не разводите, дядя Том, антимонию с камнем за пазухой, — засмеялась Нина. — Про себя, небось, считаете, что мы и злей вас и грубей. Точь-в-точь по Тургеневу. А по мне этот ваш треклятый индивидуализм с манной кашей, если не производит чего-либо в искусстве или в науке для *всех* важного, — ну, просто к свиньям его!

— Живописно, но мало убедительно. А что скажешь, если надо два поколения просто мечтателей, для того, чтобы дать в третьем одного такого, который осчастливит открытием человечество и с лихвой покроет кажущуюся никчемность предков?

— Ну, дядя Том, опять спор. Ни до чего ведь не доспоримся. Зря время проведем, а его мало. Научите поскорей, что именно мне в Тулузе смотреть. Валяйте биографию города.

— Ну, что же. Когда-то столица Лангедока. Сейчас просто департамент Гаронны. Течет эта Гаронна полукругом, отделяя Тулузу, стоящую на холме, от предместья св. Киприана. По штату есть все, что полагается французскому губернскому городу: университет и какой-то корпус армии. Налицо имеется и неизбежное во всех старых городах «урбаническое» остроумие — самый вековой материй мост от Генриха IV носит, конечно, наименование «нового моста» — Pont neuf.

Таманин говорил, собирая вещи в чемодан. Потом он вынул часы. Задрожавшая рука одна выдала волнение.

— Сейчас Каор, и я выхожу.

Поезд замедлил ход. Молодой человек, качавшийся у окна на носках, напевал:

— Partir... c'est toujours mourir un peu.

Таманин сказал:

— Зачем лгать? Больше мы, Нина, конечно, не увидимся. Одна просьба: записки, о которых я тебе сказал, прочтите в вашем кружке непременно. Комментируйте как хотите, шельмуйте, потом сожгите, но все-таки прочтите. Для вас писал... Могу я поверить?..

— Чудак вы! Я же сказала, у нас ориентация на культуру, и, поскольку это записки современника...

— И человека. Уж разрешите и это — *человека*...

Он не кончил, махнул рукой. Поезд стал. Кондуктор, словно его стали резать, закричал:

— Каор!.. Каор!..

Таманин обнял Нину и вышел.

Главный вокзал в Тулузе великолепен. Геральдические знаки,

как драгоценные камни, окаймляют все здание, на солнце горят бирюзой и рубинами, и ледяным перламутровым переливом. Здесь эмалью выложены единороги, киты, корабельные носы. Как пышные орхидеи, страусовые перья склоняются над шлемами рыцарей — Тулуза город турниров. И так беззаконны рядом с вокзалом бегущие прямо и быстро трамваи.

Спутник-француз, узнав, что Нину должен встретить человек, которого ей мудрено будет узнать, любезно вызвался сигнализировать ему пурпурной лентой. Он стрельнул в небо зонтиком и окаменел в своей позе; это ничуть не мешало ему скороговоркой южанина разъяснять, что трамваи зовутся «продувными» по причине необыкновенного сквозняка от отсутствия стекол, замененных раздувавшимися белыми занавесками.

Выпятив свои бельма, как глаза без зрачков, битком набитые, без устали мчатся в гору трамваи, не успевая забирать расфранченных красавиц предместья. Люди приливали к вокзалу целыми семьями — с пеленашками, с кошками, с попугаями.

— Ведь сегодня день взятия Бастилии, мадемуазель, день веселья, танцев и грандиозного фейерверка над Гаронной. Однако, здесь внизу нам трудно будет встретить вашего, извините меня, неизвестного вам кавалера.

Француз провел на ступеньки выше, опять выстрелил зонтиком в небо. И внезапно Нина услышала русскую речь:

— Ниночка, ты ли это?

И перед ней встали двое — высокий и низенький.

Каданов был узкоплеч и, пожалуй, слишком высок. Несмотря на стремительность, силы движения не было. Колени гнулись, и первое, что при взгляде на него вспомнилось Нине, был гаолян под ветром в ботаническом саду. Он, здороваясь, приподнял лоснящийся под солнцем цилиндр, что-то говоря красным большим ртом. Волосы его были сине-черные, с проседью. И еще Нине отметились «огненные глаза» гипнотизера-эстрадника. Сейчам же мелькнуло: «обольститель женских воль». Так говорил в детстве про Каданова дядя Том. Глаза эти Нина вспомнила — тогда она их боялась.

Рядом с Кадановым, поражая великолепием английского костюма, очень коротенький, с моноклем, с подстриженной а-ля Наполеон III бородкой, мелко переступал лакированными штиблетами ближайший товарищ отца, Лазарь Давыдович.

Каданов патетически взял Нину крепко за обе руки, сам оттолкнулся назад, чтобы лучше ее разглядеть, потом поцеловал и сказал Лазарю Давыдовичу:

— Вот она, моя Нина Каданова, — познакомьтесь.

Лазарь Давыдович, как для приема благодати, взял в обе коротко-

палые ладошки нинину руку. Он светился благоволением, он был искренне родственен.

— Мы с вашим папа́ — два Аякса. Мы неразлучны. И такое важное событие — приезд его единственной дочери, — конечно, не безразлично и для меня, можете мне поверить. Однако, — он восхищенными глазами глядел на Каданова и, сам хорошо говоря по-русски, как прихоть, пародируя кого-то, говорить не умеющего, прибавил, подмигнув: — соловейчика, как говорится, не кормят баснями. Иду выбирать наилучшего тулузского Россинанта...

Все трое сели в старомодный фаэтон и понеслись на ту же гору, куда непрерывно, один за другим, направлялись трамваи.

— Площадь города с громким именем Капитолий, — Каданов широко обвел узкой рукой: — но античного в этом имени ровно ничего. Оно происходит от ратуши, где заседал управляющий капитулами-коммунами совет восьми. Еще под владычеством римлян Тулуза собралась в крепкий город и прославилась как очаг искусства и центр науки...

Каданов оборвал. Он начал свою осведомительную речь, чтобы дать оправиться Нине от предполагаемого волнения встречи. А сейчас он разглядел, что никакого волнения не было. По-своему он дочь очень ждал и был задет, что она его сразу ставит втупик. По тому жадному любопытству, с каким Нина смотрела по сторонам, было очевидно, что у нее свой независимый характер, своя определившаяся психика, и, во всяком случае, нет и в помине той «трепетной лани», которую хотелось ему охранять.

— Верно, мать восстановила... И, как во времена былых лет, привычный соблазнитель, он загорелся непременным желанием победить, восхитить, заинтересовать самим собою собственную дочь, вызвать смущенье, защиты просящую нежность в этом правильном, свежем и, как уже враждебно он окрестил, «комсомольском» лице.

— Обрати, Нина, внимание, — он взял ее руку, — это улица дю-Тор и церковь Notre Dame du Taur — народное сокращение от слова toreau — бык. Все это в честь св. Сатурнина. Он здесь ввел христианство и был в благодарность привязан живым к хвосту разъяренного быка...

Каданов с пафосом проговорил еще несколько строк, а Нина, поправляя от ветра волосы, ощутила на своей руке перешедший с рук отца знакомый пряный и тонкий запах духов Датура. Вмиг случилось то, чего не дала сознательность встречи, — тысяча детских воспоминаний, которых уже не было в памяти, встали сами. Волнение было сильно. Духи Датура были любимыми духами матери, потому что ими душился он, вот этот... отец.

Каданов обрадовался, учтя волнение Нины по-своему, и нежно сказал:

— Ты устала и только что мы встретились, а я вызвал тяжелые образы...

Но Нина уже смеялась.

— Это вы про бычьего святого?

Она показала зубы, мелкие и остренькие, как у пумы. Лазарь Давыдович рассмеялся в ответ, приговаривая:

— Да, повезло-таки в этом городе быку — его именем и площадь и улица. И скажите, пожалуйста, разве это уж такой большой подвиг — протащить на своем хвосте человека?

Каданов метнул молнии на Лазаря Давыдовича и с весом сказал:

— Теодорих избрал Тулузу своим местопребыванием, она стала столицей Аквитании, здесь был двор вестготов, здесь жил Людовик Благочестивый.

Он пытливо нагнулся к Нине, обдавая ее новой волной духов Датура.

— Ты, конечно, знаешь его?

— Ну, конечно, нет... — Нина запнулась, — надо же когда-нибудь прибавить *папа* — и не смогла. Чужой, совершенно чужой человек сидел рядом. Слабый, умный дядя Том был куда роднее.

Каданов пожал плечами.

— Не слыхать о величайшем из Каролингов, столь благоуханном святом? Да в наше время мы наизусть знали чудесное вступление Грановского. Вот оно...

Нина смотрела на декламировавшего отца и решала твердо:

«Сегодня же обратно, и даже не ночевать».

Каданов не наблюдал больше дочь. Он уже увлекся собственным красноречием.

— ...Если б не ереси, вся история Тулузы была бы иная. Запомни, Нина, — он поднял холеный палец: — даже частичное помрачение единой кафолической идеи несет свое возмездие в исторических судьбах. Ересь альбигойцев подготовила почву для присоединения Аквитании к Франции.

— Эта война, или, вернее сказать, крестовый поход против маркграфа Раймонда VII, — то ли иронизируя, то ли смакуя свои познания, вступил Лазарь Давыдыч, — мне помнится, вызвана была его не-позво-лительным снисхождением к манихейцам.

Нина, чтобы себя заявить, нарочно с вызовом сказала:

— А я, знаете, путаю — альбигойцы и альбиносы. У кого-то нехватает пигмента и они белобрысы, а кого-то гнали идиоты фанатики.

Лазарь Давыдыч весело глянул на Каданова. Тот насупился и умолк. Подъехали к старинному отелю. Каданов церемонно провел

Нину по коридору к дверям взятого для нее номера и тоже раздраженный, избегая родственного «ты», сказал сдержанно:

— Можно умыться и отдохнуть. Через час будем обедать.

В номере была необъятная кровать под тяжким балдахином, зеркало широкое и простое, наделявшее несуществующим флюсом, тяжкий дубовый стол, поместительный шкаф — все было мрачно и похоже, что стоит тут века. В стене под обоями тайная дверь. За ней, вместо невинности умывальника, могли быть и орудия пытки и спуск в подземелье. Нине было приятно распахнуть скорее окно. Тотчас стало слышно, как в соседнем номере аббат с целым выводком экскурсантов занимался хоровой декламацией.

Кончили. Мальчики, как табунок, сорвавшийся с привязи, пронеслись вниз по лестнице. Нина, причесываясь у окошка, видела, как они смешались на площади с веселой толпой. Аббат же уселся за мраморный столик и, уйдя носом в «Эхо Парижа», зажмурив один круглый глаз, потянул через соломинку лимонад.

Нине в дверь постучали, и Лазарь Давыдович сказал:

— Ваш папа̀ до обеда поручил мне показать вам достопримечательности Тулузы.

На площади тесно гуляли люди, пестрые как цветы. Без всякой оглядки на моду, провинциалки понадевали для праздника все, что нашлось в сундуках предков — валансьены, кашемировые шали... Обмахиваясь веерами, они ждали танцев. Белоснежными облаками носились по площади стайки девочек в традиционных платьях причастниц с вуалью до пят, с венком флер д'оранжа. Они держали в руках «Голос из Рима», где женщины призывались священным престолом к утраченному целомудрию. Папа заклинал вспомнить мать Гракхов и доблестных первохристианок и приказывал носить платья на четверть длинней, а руки оголять только до локтя.

Среди хохота кавалеры красавиц предместья кричали:

— Рим открыл границу первородных соблазнов. Бойтесь голых женских локтей!

На помосте перед площадью Капитолия появился ажан и возвестил, что танцы начнутся только вечером, а сейчас площадь надо ситуаенам очистить, ибо на ней будет праздничный торг.

— Тут сейчас разведутся чудеса, — ну, как в театре у Мейерхольда, — гордясь заграницей, сказал Лазарь Давыдович. — Вот полюбуйтесь, или не культура?

Толпа схлынула в переулки, и площадь предстала аспидной доской великанов. На правильном расстоянии друг от друга на ней были дырки для ларьковых металлических прутьев. Каждая дырка прикрывалась своей гаечкой вроде пуговки.

— Да неужто ни один мальчишка этих пуговок тут не слямзит?

— Это ж муниципальное достояние. Это культура...

Действительно, два рыночных стража аккуратнейше прятали пуговки в особый мешок. В дырки они вставили толстые прутья, на которые натянули парусиновый верх. По щучьему веленью на голой площади вырос чистенький оперный рынок. Возникли корзины с фруктами и лангустами, и повалил вкусный пар от сосисок и кофея. И граждане тоже повалили опять из переулков на площадь.

— Ну, что вы нам скажете? — юношески радовался Лазарь Давыдович. — Или, говорю, это вам не культура?.. Нет, именно здесь все пропитано культурой и историей..

— И прежестокой историей, мосье, — подал реплику веселый туземец. — Например, здесь вот в Варфоломеевскую ночь было такое... une hécatombe, — он взмахнул руками, чтобы показать гору трупов. — Там на площади живьем сожжен доктор Ванини по обвинению в пантеизме, чуть подальше колесован некий Кала по ложному доносу. Нечего сказать, наша Тулуза здóрово вспрыснута кровью. Не угодно ли, на севере, после армии Веллингтона и маршала Сульта — двадцать тысяч трупов! А что погибло в последнюю бойню уже на наших глазах? Однако стоп. Больше мы не хотим. Довольно войн! И вот почему сегодня, в день взятия Бастилии, у нас на стенах именно это.

Говоривший размахнулся на большой плакат, ярко черневший огромными буквами со множеством восклицательных знаков:

VIVE SACCO ET VANZETTI!!!!

В сквере перед Донжоном готовились к грандиозной иллюминации. Ворота заперли средневековым висячим замком.

— Обратите на него внимание, — указал Лазарь Давыдович: — это чтобы публика не потоптала газон. Если иллюминация для глаз, — так пусть себе смотрят глазами. Разве не так? Вечером зажгутся в обыкновенной траве роскошные фонари в форме тюльпанов. Они во множестве искусно скрыты в листве и вспыхнут разом по сигналу ажана. Принцип экономии доведен в здешнем хозяйстве до мелочи. После праздника все лампионы без малейшего повреждения пойдут в муниципиальную кладовую, и ровно через год, к 14-му июля, их выдадут городу снова, по тому же списку. Что? И после того вы, думаете, здесь возможна ваша революция?

Перед линией кафе, плотно прилегающих друг к другу без малейшего просвета переулков, гарсоны далеко вперед на площадь Капитолия вынесли мраморные столики. За каждым сидело семейство южан. Они тут засели с бокалами и соломинкой, чтобы тянуть ледяной «жатый лимон», пока не откроются танцы в честь дня Бастилии.

— Однако я вам буду показывать город по программе, составленной вашим папа́:

И Лазарь Давыдович кокетливо, как веером, обмахнулся бумажкой, исписанной мелким женским почерком Каданова.

Стесненные толпой, лепясь по самой стенке, пробрались на пресловутую улицу Быка: вот забавная колокольня, с женскими покатыми плечами и шляпкой-навесом на голове.

И Нина сбежала вниз по ступенькам в катакомбные своды.

— Ваш папа́ отмечает, — кричал вдогонку Лазарь Давыдович, — что здесь не нужно спешить, как туристы, а сосредоточенно посидеть полчаса.

На длинных скамьях шуршали, как раки, черные старухи, перед ними были безмолвны аббаты, — шла четверговая немая месса.

— Ваш папа́ рекомендовал тут посидеть...

— Пусть сидит с ними сам!

И Нина так же скоро выбежала, как вошла. Запыхавшийся Лазарь Давыдович догнал ее только у грандиозного коллежа. На небе густого янтарного меда здание стояло черной громадой средневековья. Из-под стрел его готики вынеслись тучей ласточки и, прорезав со свистом воздух, как лихо брошенное лассо, вернулись обратно к своим гнездам.

— Этот коллеж совершенно без реликвий и даже сейчас пустой. Сюда нам нет интереса входить, — убеждал Лазарь Давыдович.

— Ага, попались, — если не по вашей программе, велено не пущать и тащить. Нет уж войдемте. У меня нюх, что именно сюда стоит...

Коллеж, действительно, был пуст, но от этого еще более выразителен. Консьержка взяла огромные ключи, с какими изображается апостол Петр, ключарь ада и рая, и через залу капитулов провела в необъятный пустынный корабль. Своды терялись в невиданной для здания высоте. Пола не было, и ноги грузли в земле, как на пахоте после стрельбы. Было жутко итти по этой пустыне, не слыша своих шагов, и чудилось — вдруг можно куда-то совсем провалиться. Никакой живописи. Скульптурный святой Себастьян, с ужасным ртом, разорванным криком, и перед ним больной трепет одинокой забытой свечи.

— По построению здо́рово. И все может здесь быть — и совсем современные жулики, и средневековая инквизиция, — сказала Нина.

Постояли. Вдруг Нина крикнула, пробуя эхо, потом схватила Лазаря Давыдовича за руку и перед изумленной неблаголепием иностранцев консьержкой оба, вздымая пыль, пробежали к выходу и сели в «продувной» веселый трамвай к ботаническому саду.

В саду вдоль канала на изумрудных лугах хорошились павлины, перед павами распускали хвосты. Чудесный сад был полон благоуха-

ний. Голоногие дети хохотали перед будкой с местным Петрушкой — Гиньолем. Другие, у широкого синего канала, на легком мосту, наблюдали своеобразный спорт — состязание уток и рыб, которыми кишел ручей.

— Тут царство карпов, — сказала француженка. — Есть седые старики, лет пятидесяти, обомшелые. Вот эту рыбку необычайной толщины зовут *тетка Эме*. Она ручная, как собака, эта рыба. Я знала Эме еще девочкой.

Огромные рыбы, обросшие лиловой тиной, как подводные лодки, сновали под пестрыми утками. Утки были тоже большие, необыкновенной породы, с красной кружовинкой на носу.

— Вот моя Дельфина! Сюда, Пеструшка! Ах, злой селезень Лулу..

Рыбы и утки подрались из-за куска. Дети бросали карпам, утки отнимали и совершенно не пугавшихся рыб чвакали лапой по лбу. Карпы выплескивались под самым носом уток, били их хвостами, мутили воду. Дети пустились на хитрость: отманили уток подальше, а у моста кинули хлеб. Но жадные утки сейчас же зашлепали, как посуху, по воде, вытянув шеи и стеня от страстей.

— Попав сюда, не уйдешь, — хохотали румяные торговки орешками cacaouettes: — тут и дети и взрослые часами глазеют, как утками командует селезень Лулу, а карпами — толстая тетка Эме.

Нина веселилась вместе с детьми. Веселился и Лазарь Давыдович. Вдруг Нина обернулась к нему, сияя глазами.

— Знаете, что, Лазарь Давыдович, ведь вы умный, плюньте вы на здешнюю жизнь. Приезжайте к нам. С вашим капиталом вы открыли б образцовый детдом!

— Хоть я с вами помолодел на пару десятилетий, — сказал смеясь Лазарь Давыдович: — *но память об одной* маленькой разнице еще не потерял. Здесь я, как вы выразились, *ухлопываю* деньги свои на что хочу, а у вас? У вас, пожалуй, *ухлопан* буду я сам, и с деньгами. Что? Или это не разница?

Весело вернулись, но дома обедали мрачно и молча. После обеда Каданов торжественно сказал Нине:

— Сейчас у меня в номере начнется заседание. Я нарочно с тобою ни о чем не говорил. Ты услышишь сама про главные темы, вокруг которых бьется наша духовная жизнь. Поговорим с тобой мы потом, ведь перед нами времени сколько угодно...

Он даже не задает вопроса, надолго ли я? — думала Нина, идя по темным коридорам рядом с отцом, — он, кажется, понял так, что мать умерла — дочь вернулась к нему.

Первое движение Нины было сейчас же разъяснить ошибку Каданова, но тут же она спохватилась. Разве она знает отца? Если он искренно убежден в ее гибели там на родине, кто скажет, чего он

не сделает, чтобы ее задержать? Сейчас пока при ней документы и деньги, она еще свободна, только б не выдать себя. И, конечно, сегодня же уехать к своим...

Поглощенная мыслями, Нина не слышала речи Каданова. До ее сознания дошел только итог:

— Итак, сейчас ты услышишь, в лице аббата Форэ, сильные аргументы в защиту той культуры, на разрушение которой направлены все бесчинства ваших советов. Надеюсь, ты оставила родину навсегда, приехав ко мне?

К счастью Нины, Каданов не любил ждать ответа и уже с привычным ораторством декламировал о католической полноте развития догматов, об их историческом возрасте, способном себя защищать.

— Мы перед ними дети. Но сроки пробили, наше зачаточное самосознание должно тоже перейти в зрелое.

Каданов стал перечислять все современные богословские мнения на эту тему. Нина слушала настороженно, не желая себя ни в чем проявлять.

Она наблюдала отца, его жесты, искусные модуляции голоса, взмахи кудрей над белым лбом, огонь глаз и с раздражением думала, что вот этим самым приемом Каданов в свое время соблазнил и ее мать.

Шедший впереди Лазарь Давыдович остановился: — можно войти? — спросил он, постучав в большую закрытую дверь.

Тотчас выскочил из-за дверей молодой, совершенно лысый и потому особенно какой-то чистый некий барон Жорж, — так представил его отец. Расшаркавшись, Жорж объявил по-французски и по-русски, что собрание ждет, и он готов переводить все, что для мадмуазель Нина будет непонятно.

На креслах, за большим круглым столом сидело несколько человек. Здороваясь, поспешно встал аббат, молодой, южного происхождения. Он был черен, горбонос, он пронзал глазами, как монахи с картин испанской школы. Очевидно, он уже был осведомлен, кто такая Нина, потому что, потрясая ее руку, вкрадчивым голосом сказал:

— Да поможет пресвятая дева, чтобы мои сегодняшние речи легли вам в душу краеугольным камнем правильного суждения о мире.

Нина взяла себя в руки, чтобы все выслушать до конца и села рядом с Лазарем Давыдовичем. Он тотчас ободряюще зашептал ей:

— Сегодня у нас «защита Запада», а уж завтра будет свое православное — о святой Троице. Знаете, мы, как обломовский Захар, таки любим бранить свою родину, но как только посмеют чужие, мы — быками. Да, быками берем на рога. Вот сейчас вы увидите... возможно, сегодня у нас будет коллизия с этим аббатом.

Лазарь Давыдович, улыбаясь, потирал руки, предвкушая наслаждение боя, как привычный спортсмен.

Барон Жорж сидел с другой стороны аббата. Он равнодушно рассматривал свой брелок. Третий человек был здесь в странной одежде, вроде Алеши Карамазова в исполнении старого МХАТа, — молод, голубоглаз, похож на псаломщика.

— Из цикла созидателей святоотческой литературы, — сказал, гордясь им, Лазарь Давыдович.

Каданов услышал и недовольно глянул на Лазаря Давыдовича.

— Опять вы в ереси! Ну, как это можно быть единоличным созидателем того, что веками... Брат наш Валентин лишь свыше помазанный комментатор.

— Наше очередное собрание «Звонарей духа» объявляю открытым, — громко произнес, вытянувшись во весь длинный свой рост, Каданов и тотчас сел опять. Барон Жорж, несколько в нос, прочел по бумажке повестку дня.

Брат Валентин, как для принятия игуменского незримого благословения, склонил голову и так остался сидеть, с опущенными веками, во все время речи аббата.

— Защита белого луча Девы, но от кого же? Увы, дорогие друзья, простите... — аббат не по-монашески, а по-мужски, как вполне светский человек, шаркнул два раза Валентину и Каданову, — от вашего Востока. Да, да, от угрозы порядку, кларизму латинского духа. Говоря: Восток, я имею ввиду не ту или иную форму правления, а именно самый *дух*. *Опасный анархический пафос вашего славянства*. О, как радостно было нам в прежние годы пробуждение русской культуры. Мы приветствовали его, как авангард *Европы в Азию*. Но ныне, друзья мои, ныне... ваша страна, отвергшая руководство вековых традиций, уже сама угрожает Европе как авангард азиатский. И преступно, братоубийственно угрожает, как древний Каин...

Аббат молниеносно сверкнул в сторону Нины, будто она одна была в ответе за всю неприятную стратегию русской страны.

Нина, ухватившись за ручки кресла, подалась вперед и, вдруг рассердившись, гвоздила аббата широко расставленными глазами с яркой точкой зрачков.

— Своеобразная глазная дуэль? — что? — шепнул Жоржу Лазарь Давыдович.

Жорж махнул слабо рукой и сюсюкнул:

— Советская амазонка! Charmante...

Аббат оставил на время Россию и принялся обличать в сатанизме Германию через Кайзерлинга.

— Вообразите, друзья мои, идеал этого ужасного человека —

полное развитие собственной психики без *всякого* вмешательства свыше. По его мнению, старая Индия уже владеет идеалом, которого Запад еще не научился искать. Разве это не предел безбожия? Разве не духовная зараза?

Аббат сверкал глазами, он уже не видел слушателей, он, отдавшись римскому своему темпераменту и ощущению власти свыше, обличал целый мир, помахивая черной книжкой, зажатой в сухих желтых пальцах.

Подвывая по традиции haute ecole французской декламации, аббат негодовал, как «богохульно» Кайзерлинг определяет прогресс: «Истинный прогресс — это тот, что превращает *хаос в космос* и делает человека в *абсолютном смысле этого слова творцом всего».*

— Без сомнения, это речи антихриста, — уронил мрачно Каданов.

— И мне сдается, что вроде того, — не без веселого лукавства вторил Лазарь Давыдович и соболезнующе закачал Нине головой: «предупреждал, мол, а уж сейчас поздно, случилось».

Нина, уткнувшись в платок, старалась скрыть смех.

— Der Mensch ist unbedingt schöpferisch, — процитировал Жорж, и тоже нельзя было понять, порицает он Кайзерлинга или ему единомышленник.

— Вот, видите, дорогое дитя, — обратился аббат в сторону Нины: — наша мысль, как строптивая лошадь, несет нас, сама не знает куда, быть может, в пропасть. Поймите: мысль должна быть взята в удила, взнуздана... — Он по-южному ловко и похоже дополнил жестами, как надо затянуть повода воображаемой лошади-мысли и, торжествуя, сказал: — лучше нам задушить саму *жажду* свободы, чем, уступив ей, *взорвать все устои, всю благословенную веками традицию.*

— Чего же мешкать, садились бы сразу в обезьянник, — сказала Нина.

Каданов схватил ее за руки и с яростью прошептал:

— Молчи.

Но аббат, настоявший, чтобы опять ему перевели, любезно рассмеялся и сказал Каданову:

— Не волнуйтесь, мой друг. Это превеселое предложение мадмуазель является доказательством, что благодать действует неисповедимыми путями. В начале моей речи ее настроение полно было старшего *духа злобы — тьмы*, я это прочел в ее гневных глазах, сейчас оно от духа младшего, духа детской насмешки. Имейте терпение — оно лучший меч против темных сил. Вы сами ужаснетесь, милое дитя, мадмуазель Nina, когда в скором времени, придя в себя, вспомните, *где* вы жили, *какими* воздухом вы дышали...

Аббат стал о чем-то шептаться с Кадановым, тот двинулся было к дочери, но вернулся назад, повидимому отложив какое-то решение. Нина же опять подумала о том, как хорошо она распорядилась вещами, оставив их в Берлине. Только роль надо выдержать до конца, чтобы не поняли, что она сегодня же хочет удрать.

«Эти безумцы все могут сделать. Вдруг заточат в монастырь для изгнания злого духа».

Ей стало жутко. И, чтоб не выдавать себя больше, она старалась только наблюдать, воображая, что всех присутствующих видит на сцене, и личной судьбы ее здесь ничто не касается.

Скоро разговор стал действительно интересен. Аббат, сочтя недвижную невозмутимость Валентина за беззащитную пассивность, стал не стесняясь нападать на русских святых, находя, что отсутствие у них личности уже было началом подчинения Азии. Особенно высмеивал столпников-одиночек. Однако тут совсем неожиданно вступился не кто иной, как Лазарь Давыдович, которого Каданов уже целый месяц мучил корректурами собственного труда о св. Симеоне.

Лазарь Давыдович с наигранным гневом, каким старшие пугают детей, воскликнул:

— Ну, что вы можете утверждать, например, касательно нашего Симеона Столпника? Что знаете вы о чуде сконцентрированной воли? Этот же Симеон, всем известно, чистил воздух одними мыслями на многие километры вокруг. Что — плохой ассенизатор? Разве не к нему пришел сам разбойник Иоканаан?

Каданов пытался унять Лазаря Давыдовича, но тот до того разошелся, что уже наскакивать начал сам.

— Что вы думаете? Я-таки не дураком читаю ваши корректуры! Но сейчас, думаю, целесообразней всего в защиту нашего духовного творчества, предоставить брату Валентину изложить работы нашего последнего мудреца. Мосье Жорж, идите на помощь.

Жорж мигом вскочил и сел между аббатом и Валентином. С опереточным жестом, с каким поют «Глядите здесь, смотрите там», он протянул речитативом:

— Я примиритель, я переводчик...

Валентин откашлялся и стал говорить престранным языком. Это было, конечно, по-русски и вместе с тем походило, как будто говорит иностранец, обученный шутником окать.

— Он из Владимирской губернии, что ли? — спросила Нина Лазаря Давыдовича.

— Да нет же, — засмеялся тот. — Он скорее всего из эстетов. Он окает, чтобы окончательно порвать с прошлым. К тому же ученики ему так в рот и глядят, чтобы он не свернул куда-нибудь в ересь.

— Значит, со страху окает. Ну и способ самообороны!

— Нет, уж вы не смешите, — сложил Лазарь Давыдович ручки. — А то я ужасно смешливый.

Валентин начал речь свою с той самой идеи, о которой Каданов уже сказал Нине мельком, — что развал русской церкви и успех революции произошли по причине отсутствия в церкви догматической зрелости. Опираясь на пустоту, на несобранность духовной культуры, церковь не сумела себя отстоять и удержать народ. В экстренном порядке надо заполнить этот пробел, предполагая в недалеком будущем совершенно необходимое соединение церквей уже для отражения общего врага рода человеческого — *Антихриста*. Про него окончательно и бесповоротно известно, что он скоро родится.

Докладчик поднял свои глаза одержимого к небу и отчеканил:

— По неисповедимым судьбам божиим, антихрист родится на нашей *несчастной родине*.

Каданов мрачно сел, уронив голову на иконописные тонкие руки. Жорж весело оглядывался, предвкушая очередной скандал. Лазарь Давыдович подсел опять к Нине и, подмигивая своими прищуренными глазами веселого циника, чуть прищелкнул языком и с укоризной сказал:

— Ай-ай, какое это тревожное явление будет в вашем Союзе!

Кусая губы от смеха, Нина спросила:

— Лазарь Давыдович, в какой области он родится — на Кавказе, в Татреспублике?

— Это еще здесь не фиксировано. По некоторым причинам на юге, казалось бы, благоприятнее...

— Что ж это... здесь — антирелигиозная пропаганда? — Нина с изумлением оглядывала всех.

Но Жорж переводил по-французски, аббат непроницаемо слушал. Каданов, священнодействуя, подтверждал.

Валентин осуждающе перекатил под тонкими веками зрачки в сторону Нины и с особым проникновением изрек:

— Природа чуда — иррациональна. Но мы веруем...

Нине окончательно стало жутко, что она во власти душевнобольных. Но Лазарь Давыдович опять подъехал ближе и, сквозь стекла пенснэ ободряюще светлея глазами, с отеческой лаской сказал:

— Ну, что тут такого невероятного? Человек начинает говорить как пророк, если поверить, что эта самая благодать s'est èlancee... ринулась... ну, как еще проще по-русски, ну, вроде как сиганула в него прямо с небес... Что?

На них зашикали. Валентин, наконец разомкнув ресницы, сказал аббату:

— В этом пункте у нас с вами разногласия быть не может. Ведь под благодатью мы разумеем тот самый источник, дары которого, как вам прекрасно известно, принес вашему св. Хлодвигу в драгоценной ампуле могучий орел.

Аббат закивал по-семейному, будто вспомнив, что священный орел живет у него дома, в курятнике, а веселый переводчик, радуясь, что улучил минутку и для остроумия собственного, ловко ввернул:

— Княгиня Клекотова уверяет, что ей было виденье — будто из церквей СССР la благодать est deja partie — фьють! — он присвистнул и жестом изобразил улетающую птицу.

Каданов, как тигр, бегал по комнате. Аббат и Валентин, раскрывший наконец большие, цвета морской волны глаза, наступали друг на друга и говорили разом, позабыв про всякого переводчика.

— Личная одиночная интуиция членов вашей церкви, — кричал аббат, — *объективного* значения иметь не может. Вместо нашей непогрешимой власти у вас — ноль. Понимаете, un zero! У вас нет силы, утверждающей преемственность благодати, у вас сама благодать давно прервана...

— Замолчите, мосье Форэ, — Каданов врезался между Валентином и аббатом, потрясая прядями черно-синих волос: — не кладите новый камень под колеса соединения церквей. Работа, которую докладывал брат Валентин, — ведь это же мост, мост примирения...

— Никаких мостов, никакого соединения, — резал аббат: — у отпавших — а вы отпали — может быть только одно: покаяние и мольба о включении.

— Ну, это, я вам скажу, слишком... — распетушился и пошел шариком Лазарь Давыдович.—Это уж, знаете... это задета наша честь

Каданов, вспомнив о Нине, подошел к окну:

— Тебе лучше уйти. Вечером я сам разъясню тебе причины наших несогласий, а ты, как на духу, расскажешь мне, все, что тебя потрясло...

— Pardon, mademoiselle Nina, одну минутку внимания, — подошел любезный, опять собой овладевший аббат: — разрешите сейчас мне для начала задать вам несколько вопросов. Вот здесь действительно у нас с вами разногласия не будет, — примирительно улыбнулся он Каданову. — Прошу вас ответить, дорогое дитя, вот ведь даже Шпенглер утверждает, что *каждая* культура религиозна, каждая творит свой миф. Каков миф вашей, сегодняшней? Или у вас только *новая этика*? — Этика пролетариата: что полезно для класса в его борьбе, то этично. — Чудесно. Не объективная всечеловеческая этика, как в целом мире, а классовая. Но в таком случае, будьте уверены, что готтентоты вас давно предвосхитили... А критерий, мое дитя? С каким критерием вы хотите переделывать мир?

— Я ощущаю силы свыше на экзорсизм, — шепнул Каданов аббату и, шагнув к Нине, поднял узкие ладони над ее головою; сверля глазами белый потолок комнаты, он выкрикнул: — Человек был, человек есть, человек будет сын божий.

— О чем же тогда *вы* хлопочете? О чем? — И Нина, забыв все свои опасения, необходимость осторожности, не боясь своей глупости, стала говорить, ни к кому не обращаясь.

— Довольно я слушала тут. Вы не видите, как вы смешны. И поверить, что это вы, а не мы уважаем человека. Это для нас так же глупо, как бояться, что не будет кровообращения, поверить, что у человека не будет морали, коль скоро мы опрокинем безобразные условия, которые создала ваша «гуманная» цивилизация...

Опять перевела дух. Каданов гневно вставил:

— Но вы хотите это сделать своими руками, без всякой помощи божьей?

— Многого вы добились за двадцать веков, только и говоря об этой помощи? Ваши священные союзы и лиги, и высокие идеализмы — мало они уживались с войной и насилием? У здешней кроткой «культуры» и сейчас кровавые руки. Не ей нас учить...

— Она прелестна, о, амазонка! — сказал Жорж.

— Мы сейчас сильны не только пушками: мы сильны людьми, мы сильны вашей слабостью. Вы... вы дряхлые старики. Вам не бороться с новой волной. Все ваше прошло. Вы все твердите о духе. Но этот дух вашей эпохи испустил свой дух. Новое входит в мир! А от вас... как это... La благодать est deja partie!

Каданов молча в ярости крепко взял Нину за руку и вместе с ней вышел из комнаты.

— Это недопустимо... это...

Аббат выскочил следом и вдогонку певуче послал:

— Мой друг, вспомните: наилучшее оружие, кротость — наш меч.

Подоспевшему Лазарю Давыдовичу Каданов сказал:

— Прошу вас немного пройтись с моей дочерью по городу. Ей необходимо притти в себя, а нам договориться одним, по нашему делу.

— Дорогое дитя, — Каданов уже был сдержан и добр, — поздно вечером я буду иметь с тобою серьезнейший разговор.

Нина молча прошла вперед к себе в номер, чтобы надеть вечерний костюм, и успела расслышать, как отец, понизив голос, сказал меценату:

— Ни на минуту не спускайте с нее глаз.

Лазарь Давыдович постучал к Нине в дверь и, вытираясь платочком, конфиденциально сказал:

— Ну, кто меня раздражает, так это католические аббаты! Их высокомерию нет границ. И ведь это все чужие слова, это им приказали какие-нибудь там римские штучки. Ой, как напрасно, что вы слушали нас именно сегодня в первый раз. Неудачнейший номер. Но вот посмотрите, с той недели мы развернем уже только наши программы. Что-то запоют католики? Во вторник, например, у нас Троица, в пятницу Серафим... Что? Скажете, плохой святой. Ну, совершенно не уступит ихнему Франциску, ручаюсь, даст десять очков вперед.

Нина смотрела во все глаза на Лазаря Давыдовича.

— Вы это что же — неофит? Они вас недавно крестили?

— Что? — изумился в свою очередь, Лазарь Давыдович. — Зачем я должен креститься? Не видал я разве воды? К тому же ваш отец объявил, что по чистоте души я пребываю в Отце, в котором потенциально и сын и голубь... Это дает мне право поддерживать дело «Звонарей духа».

Нина упала на диван и стала хохотать уже без всякого удержу. Лазарь Давыдович подавал ей намоченное в холодной воде полотенце, растерянно разводил руками и кричал в пустоту:

— Ну, разве я знаю, что с ней? Может быть, это и есть женская истерика? Я позову вашего папа́.

Он пошел было к двери. Нина испугалась, вмиг взяла себя в руки и сказала, вытирая глаза:

— Это ничего, милый Лазарь Давыдович. Это от волнения. Подумайте, я только что приехала и столько впечатлений.

— Ну, я же говорю... Пойдемте пройтись. Я до ужина опять вам буду показывать город.

— Топчите, ситуаены, асфальты площади во имя славного дня!

— Надеемся, что вы так же скоро потопчете произвол вашего правительства!

Над головами толпы прямо с дерева кто-то начал речь.

Речь прервали криками:

— Vive Sacco et Vanzetti!

Ажаны понеслись окружать дерево.

Все покрывая, из-за Гаронны грохнул взрыв, отражения домов вмиг потухли в реке; казалось, вся улица упала в воду. И по всему куполу неба забили фонтаном ракеты.

Нина, крутясь в плясе с неизвестным верзилой под крики толпы: «Vive la Republique!», была уже на другом конце площади. При яркой вспышке бенгальских огней она еще раз поспела увидеть, как растерянный Лазарь Давыдович, потеряв ее из виду, во все стороны махал палкой и зонтиком и с перепугу кричал французам по-русски:

— Задержите ее. Задержи...

Лазарь Давыдович не кончил. Он сам попал в плен к почтенной консьержке. Рослая дама обхватила его крепко руками, напоминавшими тучные белые ноги, и волчком закружила на площади.

Нина выбралась в темную улицу и поехала на вокзал.

ТАЧКОВОЗ

Переселился Лагода в Ленинград. Сегодня зван на первое собрание, куда Нина Каданова, приехавшая из-за границы, принесет рукопись эмигранта Таманина.

Подошел Лагода к квартире Критова, вынул часы — оказалось, поторопился, еще на занятиях ребята.

Сел во двор на поленья и по привычке стал наблюдать. Тут на смежном пустыре дом строился. Разнообразного возраста люди, как для детской игры, запрягались в тачки, чтобы перевозить песок из огромной горы, навороченной по середине двора, к уже возведенному фундаменту.

К песочной горе шли с пустыми тачками, для легкости назад откинув голову, отчего вид был как у вдохновенного музыканта.

— Невеселая работа? — спросил Лагода.

— Работка ничего, она на воздухе, — отозвался старик, — в один конец упреешь, в другой освежишься. В закрытом помещении оно много нудней...

— А ну-ка, старик, отдохни, — и Лагода потянулся к тачке.

— Что ж, позабавься, — уступил место старик, — дело нехитрое, притом нам охота курнуть. Да недолго, чай, вытянешь? — провокационно подмигнул дед, — сам в возрасте, да и хлипок.

Но Лагода вытянул порядочно. Гордо, как журавль, шагал он к песочной горе, где на самом верху, словно воробьи на крупу, сбились в кучу ребята. Под горой песком набивал тачку и, ровняясь по другим рабочим, отвозил ее на пустырь, где опрокидывал вдруг, крякнув с соседями в унисон.

Собственник тачки накурился и захрапел в тени дерева, а Лагода все возил. Воротилась юная прыть...

Ну, словом нашел способ волнение свое разрешить и обрадовался. Саня-то Птахова, хоть милая сама по себе, главным образом ведь почему зацепила? Как ни открещивался, пришлось признаться: она случайным сходством всколыхнула в Лагоде все, что было четверть века назад пережито.

Большую опасность таит иное пустяковое сходство. Совпадут там

какие-нибудь черточки, глупенькая родинка, — а воображение, гляди, доврет уже все прочее — и пожалуйте, отбывайте заново весь некогда пережитый романический эпизод.

Такая вот, как эта Саня Птахова, у Лагоды невеста была. Понятная, вроде цветочное поле и лес, ну такая своя, что и говорить много с ней не хотелось. Ну, словом — Танюша.

Хоть по первому взгляду словно дурацкий, однако, по определению мудрых людей, это и есть признак самого счастливого брака, когда с женщиной разговаривать как-нибудь особенно нет охоты, а просто тебе рядом с ней жить веселей. Но в случае, если как перед павой павлину, необходимо тебе перед ней хорошиться, в глаза пыль пускать, — когда в душе волки воют, — будь благонадежен, твое так называемое *семейное счастье* скорехонько ухнет в трубу.

Да, вспомнилось это дедово, определяющее мнение, и то как скоропалительно посватался, как просто, без ужимочки согласилась Танюша. Через месяц свадьбу назначили, и вся бы жизнь вышла другая, если бы не эта... Элла.

Настоящее имя ее было иное, но Лагода его не любил. Имя это на провинциальных афишах печатали жирным шрифтом, его затрепали поклонники. Прозвать Эллой Лагода изобрел от сокращенного: Консюэлло.

Так повелось, что ей, больной, Лагода по вечерам читывал роман Жорж Занда этого имени. Ну, конечно, придумал, будто она на героиню похожа.

Эта Элла, проездом на юг, остановилась в деревеньке у своего дяди доктора, где гостил и Лагода в ожидании собственной свадьбы. Он охотился с доктором, пока невеста Танюша была у тетки в городе и хлопотала с ней вместе по части приданого. Тетка настаивала, чтобы все по обычаю.

Помнит Лагода — даже весело было нарочно расстаться с Танюшей перед всей этой предстоящей, такой длинной, как верили оба, совместной судьбой.

К приезду Эллы в деревню Лагода с доктором совсем одичали, травя зайцев, ночуя в болоте, не видя никого, кроме мужиков в амбулаторные дни, да охотничьих собак.

Приезд этой докторовой племянницы совсем некстати вышиб их из привычной колеи. Если не ворчали во всю силу, так только из жалости. Барынька-то оказалась прехрупкая, с бессонницей, с нервами.

— Подобное состояние бывает у тех, кому предстоит спятить... — определил с досадою врач, однако тут же поправился, — а может, это у нее модный декаданц, ну, брат, тогда пятить ей уж некуда.

Как-то Элла попросила к себе Лагоду неурочно. Сидела в кресле

у окна. Узкую спину держала гора подушек, бледные северные розы цвели за окном. Глаза у нее были горячие, как у гневной лошади. Указала тонкой рукой, чтобы сел.

— Я сегодня решила спросить вас, именно вас, — подчеркнула, — вы на зависть здоровы, вы — благополучны.

Она, как сейчас помнил, сказала со злостью и закрыла лицо пальцами с необыкновенно обработанными ногтями, не чета танюшиным лопаточкам. Пальцы одни говорили о неустанной возне с собой.

И сразу рассердил тон, каким стала говорить: выходило, будто это он долго молил, и вот она, наконец, делает честь. Слова же чеканила, как диктовала:

... — В эти долгие ночи без сна научилась я одной вещи, с которой не знаю, что мне и делать. Для меня пропали все разделяющие границы, о чем подумаю, в то сейчас перельюсь. И не удержаться на своем месте. Утомительно. Знаете, Жозеф, — и она ведь его переименовала по тому же роману Жорж Занда, — знаете, сегодня утром кухарка Евпраксея — рябое лицо, бельмо на глазу — дает мне сдачу, а я вдруг, как микстуру, возьми да и глотни в себя всю кухаркину жизнь...

Смотрю на красные ее руки, с кольцом от Троицы, и навалилась на меня судьба ее тусклая, душная. Коптящая лампа, побои кума, насчитанный счет, бабье горе бессловесное — трудно все передать.

Или вот еще: кошка прыгнула, лижет розовую подушечку лапки — я по особому знаю в себе ее гибкость, удачу движений — ну зачем, спрашивается, мне этот кошкин прыжок?

— Действительно, совершенная дребедень, — согласился простодушно Лагода. Он с тоской глянул в окно. Закат в легком тумане обещал богатую поживу на охоте. С утра решено было с доктором итти в дальнее болото.

Элла острым, зверковатым любопытством обмерила Лагоду:

— Поспеете догнать! Значит надо мне, если вас позвала. Пять минут можете потерпеть. Постарайтесь понять! — приказала она и резко повернулась всем телом.

— Никого из нас нет, слышите? А мы трепыхаемся, пыжимся. А что есть? Одна слепая сила жизни, совершенно слепая. Она загнана в вас, в меня, в кошку, кухарку. Формы разные — потоньше, погрубее. Разбить любую — общая экономия не нарушится. Да есть ли ужас больше этого? В тебя *затекает* на время, как в какой-нибудь искусственный канал орошения, вода, когда подняты шлюзы. Из тебя утекает, когда шлюзы падают. А ты-то хорохоришься — я *живу*!

Она устала и, откинувшись на подушки, уже тихо сказала:

— Может быть, из одного ужаса можно попасть в горший, — но так... умереть... мне нельзя. Надо выделить себя, добыть себе корень, хотя бы убить ради этого. Как вы думаете, — Элла раскрыла злые глаза, — *убить* — это выход из канализации?

Лагода в окно глянул — собак вывели, доктор, чорт его дери, смеется злорадно, издали фигу кажет.

— Убить, конечно... оно хорошо — убить, — мямлит Лагода, — тьфу, леший, не то чтобы очень, но вообще конечно... (доктор с собаками уходил и, свинья этакая, уж он и не оборачивался) — убить, говорю, ве-ли-ко-леп-ней-ший выход.

— Вы что это? пьяны? — оборвала строго Элла.

— Отлично трезв, — рассердился Лагода. — Убить, говорю, — проба, если конечно сам человек захотел, а не то, что его заставила жизнь, война например... ну, тогда это чорт знает что. Тогда ровно ничего не решает.

— Довольно, — отрезала Элла, — вы наконец разозлились и ответили, как мне было надо. — И она повторила, словно боясь позабыть урок: — Главное, все, что сделалось не по своей воле, то ровно ничего не решает. Ну, бегите на охоту!

Она бросила как собаку, с которой надоело играть, и отвернулась к окну.

Не накались Лагода до белого каления — ничего бы дальше и не было. Даже охотников он бы наверно догнал. Доктор еще маячил белой шляпой у пчельника, застрял, как водится, у деда медку испить.

Но Лагода разъярился. Так здоровый человек, которого комариный укус вывел из себя, уже не ориентируясь на тонкий зудящий звон, пойдет, как медведь, хлопать лапами почем зря.

Рядом с простосердечьем Танюши подобное ломанье? Погруженье в свою персонишку, бесцеременность психологическая, которой до другого и дела нет!

Находясь уже у самых дверей, обернулся Лагода и в спину этой металлической барыньке, со зла, сам не зная как, вдруг брякнул сплетню, которую доктор намедни из города привез:

— А правда, что вы, ради опыта, довели до смерти каких-то юнцов?

Она повернулась: ничто в этом лице не дрогнуло. Ни в ниточку черные брови, ни лиловые веки, опущенные на глаза. Не открывая глаз, не меняя пренебрежительной интонации, эта Элла сказала:

— ...К чему же множественное число? Для опыта достаточно и *одного*.

Лагода потоптался немного и вышел.

Охотников догонять не отправился — а прямо в библиотеку, где

и часу до сих пор не высиживал, сколько врач ни срамил. Библиотека, дескать, зимнее дело. Сейчас же стал шарить в стихах, листал у философов, а чего? Да вот, чтобы хватить ее этакой пулей, в лепешку ее, до слез, до истерики. Небось не из собственной головы, тоже из книжек все свои выкрутасы берет...

Еще вспомнил Лагода, как по-особенному захотелось увидать невесту — Танюшу, как решил завтра же за ней в город. И к чорту разлука из-за приданых тряпок. Пусть тетка хлопочет одна.

И, хотя никакой уничтожающей пули ни у поэтов ни у философов он не нашел, Лагода чувствовал себя этаким карающим победителем, когда вечером вошел к Элле дочитывать последнюю порцию Консюэлло.

А вышло то, что прощенья просить заставили.

Что и как случилось в тот вечер, Лагода всю жизнь осмыслить не мог. Только это вышла не страсть, не любовь, а чорт знает что — неправдоподобное переключение в тысячу одну ночь.

Длилось подобное переключение целый месяц, пока не последовал такой же внезапный, как сближение, — разрыв. Просто-напросто Элла уложила свои чемоданы, глянула на Лагоду чужими глазами и, как прислуге давая расчет, сказала:

— За мною не следуйте. О чем следует, напишу в скором времени. Возвращайтесь в первобытное состояние, женитесь на Тане, охотьтесь за зайцами.

Однако ничего первобытного не вернулось. С Танюшей было непоправимо. И тетка выругала Лагоду персонально — *подлецом*.

И воротился Лагода на место своей педагогической службы бобыль-бобылем.

Через некоторое время он получил от Эллы письмо — короткого, но точного содержания:

«*У меня родилась дочь — вы отец. Это не должно быть известно никому кроме нас обоих. И вам я могла бы этого не говорить. Но я что-то отыму от настоящего мига, если не скажу. В материнстве я нашла свой корень. Увидеть меня не пытайтесь.*

И осталось у Лагоды на всю жизнь в памяти это знание о своей никогда невиданной дочери и расхлябанность нервов вместо былого благополучия.

Элла оставила ему в наследство свое пресловутое «*распадение границ*», заразила таки. Вот ведь опять намедни с Гоголем...

— И куды сыпешь, ле-шай! — заорал с разэтаким пожеланием парень, которому Лагода в своей новой задумчивости, не видя, что тот прыгнул в яму доставать соскочившее с тачки колесико, — вкатил полный загривок песку.

Парень Лагоду грозился избить. Лагода, склонясь над ямой, растерянно извинялся. На крик прибежал проспавшийся старик. Он взял из рук Лагоды тачку и, нимало не благодарный за услугу, выругал его в свой черед.

В довершение срама за спиной Лагоды грянул дружный смех. Все четверо — один над другим — Маврик, Саня, Критов и Нина наблюдали из окна всю историю.

Саня крикнула:

— Спасайтесь к нам!

В комнате Критова все сидели рядом на его постели, а единственный сломанный стул валялся посреди. Указав на него, Маврик сказал:

— С тебя, дядя Лагода, за починку: уйму времени тебя ждали, изображая циркачей.

— А он тут под окнами развел единоличный субботник!

— Как парню-то песочный душ закатил.

— К порядку, товарищи, время позднее. Вот что, дядя Лагода, без тебя тут ребята решили, что читать вслух эти «Записки из погребца» никакой корысти нам нет. — Маврик показал на пожелтевшую исписанную тетрадь: — главное дело, некогда. Перегружены до чорта. Сегодня один вечер свободный выдался, ты запоздал, а Саня с билетами принеслась — в Дом культуры... И вот постановили: ты с Ниной нам сделаете доклад. Нина уже читала — очередь за тобой. — Маврик протянул Лагоде рукопись.

— Отдувайся, дядя Лагода, за все, что в прошлом столетии наерундили! Они же, твои современники — одной, выходит, конюшни вы, жеребята. — Критов хлопнул Лагоду по плечу. — А мы, ребята, айда в Дом культуры!

— Когда доклады будут сделаны, откроем дискуссию! — на ходу крикнула Саня, — Нина, иди же!

Нина Каданова — только сейчас разглядел ее Лагода — сидела отдельно в углу на корзине, закутавшись плотно в черный платок.

— Я отсюда прямо домой, ухо болит.

Из-под платка сверкнул один ее глаз, внимательный и чем-то недовольный.

Лагода взял рукопись и, радуясь, что прочтет ее наедине, поплелся скорой походкой домой.

Комната Лагоды была пустовата — походная постель, стол, стул, на деревянных полках во всю длину книги. Сегодня выходной день, и он рад побыть одному, осмотреться.

Вот подружился с ребятами, полюбил их и вместе с тем не совсем почему-то им верил, — и это беспокоило. Ни бронзовому

гондольеру Маврику, который победоносно ходит на длинных ногах, чуть покачиваясь, словно правит гондолой — ни Критову, спортсмену, получившему первый приз за плаванье и надписавшему товарищам по второй книжке хороших стихов, ни самой Сане Птаховой.

Прозвала она его «седой морж» за то, что поседевшие усы сбрить не хочет.

Всех ребят видел Лагода часто, всегда они были просты, даже как-то шумно просты, казалось, что ходят они в этой простоте, как в мундире. И где-то, может быть только, когда они сами с собой, у них совсем другие лица.

Маврик интересовал больше всех, удивляло, почему он всегда знает, что сказать. Говорил же, подчеркивая иные слова, как кирпичи бросал их себе под ноги и по ним шагал. Главное, он внушал доверие, он не сомневался...

С Мавриком непременно по-настоящему надо поговорить, — решил Лагода и, развернув пожелтевшую рукопись, стал ее читать.

ДРУИДЕССА

Я не про себя хочу писать, — я человек простой и совершенно не герой. Я хочу рассказать про двух людей: про Тихона Рубцова и про Аничку.

Ничего сегодняшнего, ну, просто, не могло бы произойти, если бы не предшествовали *те годы*.

Война только хронологически разделила эпохи, но именно годы, которые вошли в учебники под обозначением — *заострение индивидуализма*, — именно они породили сегодняшний день...

Однако идеи, какие бы то ни было, не для того горят в им положенные сроки, чтобы всего-навсего опочить в книгах ,— идеи проходят в живую жизнь и за них расплачиваются живые люди. По-настоящему уверовавшие в *слово* своего времени, они — *герои* этого времени.

Тихон Рубцов, перед страшным своим концом, больше всего страдал мыслью, что в будущем пример его будет еще и еще повторен. Нет, он не хотел, чтобы его повторили.

И вместе мучительна была его уверенность, что едва человек удосужится без страха задуматься, над чем задумался он, как *неминуемо* повторит его — Тихона Рубцова. Он завещал вскрыть себя после смерти:

«... Мой мозг должен оказаться здоровым, а следовательно и поведение мое заслуживающим внимания потомков. Оно же им *предупреждение*,

Все возвращается. И вопросы, пред которыми споткнулся я в свое время, встанут и пред ними.»

После смерти Тихона мозг его вскрыли. Мозг действительно оказался совершенно здоров и развит превосходно.

В те годы, после первой революции, Пресни, карательных экспедиций и блестящего мира с японцами, за что Витте получил графа, с обывательской надбавкой полусахалинский, — вместо вопросов общественных встал первым вопрос *о человеке.*

Появились новые молодые, которым уже не казалось, как молодым недавним, что стыдно и несвоевременно о чем-либо думать ином, кроме вооруженного восстания. Совсем напротив, новые молодые, пришедшие в историю, на свою короткую смену считали, что пренелепо отдать себя в распоряжение чего бы ни было, решающего твою судьбу, раньше чем сам ты себе уяснил, в чем хлеб насущный для твоей единственной, *неповторимой* личности.

Уясняли то ли в одиночку, то ли группируясь в кружки. На каждый вкус, развитие, потребу был свой кружок. В кружке возглавляющий мэтр.

Я лично далеко стоял от всякой умственной эквилибристики. У меня было любимое дело, я мечтал в этом году окончить университет, жениться и с головой уйти в близкую природе ботанику.

Как уже сказано, я по складу человек простой, земляной, прирожденный язычник. Обновление своего мыслящего аппарата я получаю, например, предпочтительно всяким абстракциям, от любого мохнатого шмеля, наблюдая за ним, как гудит он, пролетая над благоухающим клеверным полем.

Но судьба заставила именно меня стать близким свидетелем и участником странных волнений людей «конца века».

Совсем этого не желая, узнавал я об этих волнениях с самой интимной, притом, стороны, от приятельницы моей тетушки, некой Аглаи Бреннер.

Эта Аглая свалилась к нам, как снег на голову, прямехонько из-за границы, где она, по словам ее, проходила курс оккультных наук у самого крупного *мага.* И подмочила ж она его, как говорится...

По секрету Аглая сообщила тетушке, что в прежнем, древнем воплощении она была *друидессой.* Я же, вместе с домашними, окрестили ее попроще — ведьмесса.

Уже не знаю, придумала она себе сама, или действительно имела какие-то особые полномочия, но только эта Аглая стала в скорости приближенной одного замечательного столичного писателя. Назову его обобщающе, с большой буквы — Мэтр.

Очень скоро Аглая переселилась к нему на очень высокий этаж в претенциозный, неудавшийся дом. Подыматься туда было долго,

и столь же витиеваты, как лестницы этого дома, были речи, которыми тут же, на пороге, хозяин приветствовал гостя, нередко сам поспешая на звонок в синей блузе особого кроя.

Аглая уверяла — мастеров возрождения — пусть его...

У Мэтра было безбровое лицо, златокудрое, какое-то мужеженское, по-моему, вроде старой англичанки. Аглая же утверждала, что лицо это — ну, совершенно Il Redemptore — Искупитель, с тайной вечери да-Винчи, очень модной и продававшейся на открытках.

Как бы там ни было, у новичков, при восхождении на эту лестницу, падало сердце. Они брели, подавленные славой, стихами, статьями обворожителя-Мэтра. Главное, — его неясными, волнующими посулами, как неопределенно объяснила мне друидесса.

Она уверяла в тесном кругу, за чаем у тетушки, что у нее есть *миссия* обратить русского писателя в ученики иноземного мага. Однако вскорости по городу пробежал слух, что именно наш русский Мэтр, не будь дураком, предвосхитил атаку, взял да сам и опутал ведьмессу.

Шептались шопоты: мечется-де друидесса у Мэтра в плену. Как гипнотизер петуху, провел он ей черту перед выходами — черным и парадным, и ровно пуделю крикнул: — тубо!

— Правда ль, Аглаюшка, — не утерпела попросту тетушка, — что тебе можно из дома только когда *сам* тебя выпустит? А не то, говорят, подымешь ножку над порогами, а переступить тебе невозможно — заквохчешь курицей... и стоп. Хоть ты, конечно, вдова, однако, знаешь, приезжай лучше снова ко мне.

— У меня *миссия*, — сказала с весом Аглая, — и миссию эту я выполню. Что же до городских сплетен — то это работа самых дрянных элементалей!

Уж не знаю — кто именно элементали, но болтовни в те годы было как-то особенно много. И про кого только не болтали! Не только про занимавшего всех пышного Мэтра, про изолгавшегося медиума Кверьку, который божился направо и налево, что каждую пятницу, в день Башамота, он блудодействует с прекрасной невольницей египетской Клеопатры. Сама же древняя царица, божился Кверька, снисходит только лишь до Павла Николаевича Милюкова, которому нашептывает между лобзаний о преобразованиях, полезных стране.

Кверька был медиум демократический, он обслуживал собрания членов-спиритов кадетствующих, но был в столице медиум другой — Сигурд, как он уверял, крови польских королей.

Этот Сигурд подымал силой своего астрала к самой люстре столы, он проходил сквозь стены, предварительно разложившись до последнего атома, так что брюки, пиджак и исподнее оставались кучей лежать на полу, пока сам он, как мать родила, просачивался в дру-

гую комнату. В другой комнате поклонницы облекали его, подлеца, в свежую новешенькую пару.

До появления Аглаи-друидессы наш Мэтр был недоступен для профанов. Не знавшие латыни и греческого как-то даже конфузились и соваться. Образование его действительно было глубоко, и, как говорили модные люди, он умел «обжечь изыском философскифилологической древней темы».

— С появлением вашей знакомой в этом высококультурном доме,— сказал мне как-то с печалью один из учеников Мэтра, — появился и новый тон, который вульгаризирует высокий эклектизм речей Мэтра и порождает дрянную доступность. Сонм любопытных к нам повалил... Вы бы допросили вашу знакомую, кто она? Каковы ее полномочия?

И, ей-богу, мы с тетенькой Аглаю допросили.

Она наговорила нам дивных вещей. Она-де владеет каждым атомом своего тела и включена в ближайшие сотрудницы своего мага. Без сомнения было одно — друидесса верила, что это не самогипноз, а безусловно объективный акт по-новому сознательной воли, этот выход ее — из тела и полеты к учителю за новым наполнением ума и воли. Питалась она травами и молочным для облегчения себе подобных экскурсов.

Эта друидесса сыграла столь большую роль в жизни описываемых мною людей и в моей собственной, что я должен рассказать о ней поподробней.

Говорила она о себе как о посторонней, что действовало на воображение, и многие начинали видеть ее какой-то обаятельной куртизанкой былых времен. На самом же деле у нее была большая некрасивая голова с непомерным лбом, на котором, как на парике, непрочно держались слабые, рыжие волосы. Прозрачные веки с чертежом голубых жилок закрывали большие, зеленоватые, лунные глаза. Лицо одутловатое, белокожее как у монахинь на покое. Прекрасны были одни маленькие руки — живые, ошаривающие.

После того, как ей один из ихних, какой-то брат ясновидящий, сказал, что ее *умучали* во втором веке нашей эры и отрезали руки, — она надела браслеты-цепочки и вострепетала кистями. В разговоре любила она невзначай положить эти свои трепетные длани собеседнику на лоб, на глаза; а девчонка кухаркина, подсмотрев в щелку, неслась на кухню, крича: «Ой, вéдьмушка лапает!»

Теперь Аглая являлась у тетеньки в определенные часы и к ней, как к врачу на прием, приходили посетители.

Тетенька из любопытства ей потакала. Кроме того она была заинтересована так называемыми *выходом в астрал*, которому обучить

ее со временем обещала друидесса. А пока чаровала рассказами о собственных воздушных путешествиях.

С жадным блеском в глазах переживали избранные слушатели сообщение Аглаи о том, как она еженощно умеет, в известный час, отделившись от собственного тела, созерцать его распростертым в глубоком сне, стоя у изголовья своей кровати.

Затем, как балерина под куполом цирка, на туго натянутую проволоку, она становится, невесомая, на данное магом в воздухе направление, — и без малейших усилий ускользает в пространство.

В воздухе, уверяла она, есть такая грань, где ей надлежит остановиться, всегда внезапно, отчего, предположительно, должно вздрогнуть ее лежащее на постели, обычное, всем зримое, тучное тело.

На воздушном пересечении принимала друидесса в свои лунные очи твердый взор мага.

— С правильными интервалами — ну, точь-в-точь, как счет метронома, — передавала мне увлеченная тетушка, — маг запечатлевает Аглае познание тайн мировых...

— Каких именно? — любопытствовал я узнать, но тетушка обиделась и умолкла.

Наступил знаменательный день, когда друидесса нам объявила, что она произволением своей женской сущности отторгается от иноземного мага и принадлежит одному Мэтру, которого почитает *гением* — просветителем родной страны.

— Пусть ценой моей гибели вознесен будет *он*, — лунно шептала она, — но да наступит «преображение плоти». Начало пойдет с России. Ex oriente lux!

Для начала преображения, по разъяснению друидессы, требовалось особое «действо». Значение его она определила как «выводящее проблему пола с грубых планов реального мира в сферы тончайшие».

Последнее время с особо таинственными видом приближенные друидессы прерывали свою речь возведением очей к небу и пафосной декламацией нараспев известной цитаты Мефистофеля: кровь — сок совсем особый. Blut ist ein gan besonderer Saft.

В чем тут было дело, обнаружилось очень скоро, о чем речь будет ниже.

На днях друидесса забежала на минутку, пошепталась с тетенькой, схватила меня восторженно за руку. Вместо обычного высокомерия с непосвященным, она вдруг доверчиво мне шепнула, мерцая лунными взорами:

— Идите завтра на *его* лекцию! Впрочем, лекция — это только в плане вашем, проявленном, на самом же деле — это *мистерия*. Сопричтитесь!

Чему именно сопричтись, друидесса простыми словами не открыла, но я охотно взял два билета для себя и для Анички. Ведь уж, конечно, ничего подобного у себя в провинции она увидать не могла.

Эта Аничка, с которой пошел я на лекцию, была крестницей и дальней родней моей тетушки. Она приехала из южного города к ней погостить. Тетушка тотчас поручила мне вывозить Аничку в Александринку, на предмет восхищения теми стариками-актерами, которые волновали самою тетушку еще в дни ее юности. От Аглаи же она охраняла Аничку всячески, и от всех модных веяний, а я вот, дурак, почему-то пошел наперерез! Решил, видите ли, Аничку модернизировать, столичный лак наводить.

Дело в том, что эта Аничка мне чрезвычайно понравилась. Предпоследних вещей, как это было в моде у столичных наших девиц, она не говорила, больше слушала, тихо сияя неблестевшими темными глазами. И была она привлекательна особенной стыдливой углубленностью чувств.

ЛЕКЦИЯ

Вместе с нами пошел на эту знаменательную лекцию земляк аничкин, приехавший в столицу как раз в этот день, — Тихон Рубцов.

Хотя было переполнено, он билет себе раздобыл, и с аничкиным соседом сменился. Так и сидели мы — Аничка в середине, Тихон и я по бокам.

Я, было, ревниво насторожился. Но таким мне показался этот молодой человек неказистым, — белесый, со скучающей миной, с булавочкой в виде малой подковки, какую носили приказчики в гостином дворе, старательно воткнутой в веселенький галстучек, что, каюсь, — я пренебрежительно о нем думал: «ну, этот мне не соперник!»

И внимания, помнится, вовсе не обратил на то, что Аничка сказала мне, будто у этого Тихона только что книжица вышла, и даже дала мне ее для прочтения. А я как положил в карман пальто, так она там и лежала.

И сейчас сидел на лекции этот Тихон, такой посеревший от усталости, чухонский мертвяк.

— Больной он, что ли? — спросил я Аничку.

— Он очень волнуется, — ответила тихо она.

А чего, спросить, волноваться? Зал со скамейками амфитеатром как нельзя более соответствовал внешности вошедшего на кафедру Мэтра. Зал — ну, просто переносил в древнюю Элладу. Ораторские движения рук, непривычные у лектора-пиджачника, невольно

вызывали в воображении некую древнюю тогу, струящимися складками прикрывшую оскорбительную трубообразность брюк.

Электричество зажгло золотинку в пышных волосах Мэтра, вымытых и пушистых, как в день храма у дьякона. Блестела почтенная лысина и несколько жирная потливость вдохновенного лица.

Лекций читал Мэтр немало, и эта, сейчас мною выделяемая, носила, судя по заглавию, характер модной в те годы популяризации весьма мудреных идей.

Сейчас она прозвучала бы совершенной абракадаброй, но помнится, и тогда, при всей охваченности интересом к раздвижению всяческих границ, она была очень трудна.

И тем непостижимей мне было то, что, явно не доходя сознания большинства своим смыслом, — она все же особенно волновала слушателей. Я это приметил сразу и жадно наблюдал лектора и публику, чтобы понять причину подобного воздействия.

Однако ничего я не понял даже после того, как Тихон стал разъяснять мне в антракте, когда мы вышли в курилку.

— Вообразите, этот писатель, которого я особо ценю, ибо он высоких познаний, — сказал Тихон, по своей манере пренеприятно кривясь, — этот именно писатель позволил себе, для непонятной мне цели, собрать урожай с нездорового интереса, рожденного творчеством Мережковского и компании, к пагубной прелести андрогинов да-Винчи. Мы, провинциалы, за всеми вашими модами зорко следим. И вот, даже знаменитый Мэтр андрогинничает...

— Может ваши слова остроумны, но они совсем не серьезны причем тут андрогины да-Винчи?

— А вы только обратите внимание, как он легким движением торса, отдаваясь и властвуя одновременно, как он голосом сирены порождает волнующие обертоны. То он неуловимо кокетничает, как умеют одни женщины, то бросает внезапно, как этакий степной разнасильник, — я *поволил!*

— Это ваше воображение, это выдумка...

— Выдумка? Вы не умеете слушать... сегодняшняя лекция — изумительный опыт. Все впечатление построено на музыке, на звучании *слова*. Ведь не смысл речи, большинству недоступный, а *прием*, музыкальный прием, увлек сразу всю разноголосицу зала по лестнице пышных, невыражаемых смыслом и логикой, соблазнов мечты. Как опыт — это знаменательно.

И самое любопытное, что одновременно с этим опытом массового гипноза, под прилежным карандашом стенографисток, бесполых от профессионализма, вырастает для журнала крепкий текст *той же* речи, — образец риторически холодной, по-своему великолепной литературы!

Тихон произнес всю речь как-то злорадствуя, свысока, сквозь зубы. Я просто был поражен, упершись глазами в его веселенький галстучек с подковкой, не удержал раздражения и сказал:

— В суждениях о высоких достоинствах всеми признанных величин начинающему писателю из провинции, я полагаю, полезно быть поскромней...

— Вы это что? *педагог*? — веселым мальчишкой сверкнул на меня Тихон и, не дослушав ответа, кинулся к Аничке, стоявшей в дверях. Они пошли рядом, а я поплелся одиноко на свое место в амфитеатр. Кругом слышались мне малопонятные фразы:

...после гениального юноши Вейнингера...

...после Франца Баадера и интерпретаторов...

...Вековое деление на М... и на Ж... за-чер-ки-вается!..

Во втором отделении писатель изумительно говорил о силе и значении искусства. Минуя вычурные, изумляющие новизной, формулировки, я пытался ловить одну музыку слов, тот особый *прием*, о котором осудительно бросил мне Тихон. Но, вероятно, в моем мозгу не было соответствующего приемника, чтобы уловить то междустрочное содержание, о котором говорил он.

И мне стал интереснее всего сам Тихон, имеющий очевидно надо мной преимущество более тонкого инструмента. А я-то подумал — провинциал!

С целью отпарировать его фантастические обвинения Мэтра я стал намеренно запоминать тот крепкий текст, о котором столь злорадно он отозвался, именуя его риторически-холодной литературой.

Передать мне сейчас этот текст невозможно. Помню только, что общий вывод взволновал меня мечтой достичь посредством искусства какого-то чуда, преображения, поднятия, облегченности нашей действительности. Поэт возведен был лектором в сан вдохновителя душ.

Потом лектор говорил о взаимоотношениях поэта и слушателя, Он переключил все творческое, все мужественное в символ Орфея, все воспринимающее, женственное — в символ душа.

— ...если мое женственное дополнение — лишь мое отражение, лишь эхо... и тайна моего *высшего я* не венчается с *ее* тайной в сладчайшей Кане, — (ну как он это пропел!) — то это — не брак.

Тихон пригнулся к моему уху и каверзно прошептал:

— Образный этот вывод относится, конечно, к понятиям вполне абстрактным — однако обратите внимание, как юноши все вокруг вспыхнули от стыда и срама, что у них дома всего-навсего только «сожитие». И уж поверьте, несколько дней каждый будет прегрубо вымещать на своем предмете обиду сознания своей же собственной пошлости...

«Ах ты, — думаю, — сукин сын, уж не сам ли ты первый из подобных юнцов?»

Но, боже мой, что сделалось с Аничкой! И повел же я ее на свою голову на эту именно лекцию. Какое пыланье, какая тоска в ее темных, неблестящих глазах...

Между тем, лектор отпил из стакана. Его томительно простертая рука плавно вернулась к сердцу. Это движение сопровождалось взором, в себя вбирающим слушателей.

Они вытянулись в предельном внимании, как вытягиваются прихожане в костеле при звуке колокольчика, чтобы принять из рук патера символическую облатку в раскрытые рты. Прав был Тихон, — этот лектор — превеликий чародей.

Пылающее лицо Анички заметил и он. Не однажды фиксировал ее фиалковым взором. Такая чистая устремленность была во всем ее существе, какая, должно быть, бывала у женщин первохристианок, еще не принятых в общину верных, при отстраняющих словах:— оглашенные, изыдите.

Аничка, высокая, гибкая, удивительно собранная, в своем темном платьице, с гладко причесанными волосами, выгодно отличалась от девиц, полных претензии, с очень голыми шеями.

Внезапно внимание всех привлечено было кафедрой, откуда под гром рукоплесканий только что сошел торжествующий лектор. Не спеша, к ней подошел и поднялся человек в необыкновенном костюме. Его в публике я до сих пор не видал, вероятно он сидел совсем сзади.

Он был в коричневом армяке, какой носят смоленские крестьяне, из домотканного сукна, подпоясан веревкой. Он был молод, красив, белокур. Лицо, как говорится, без особых примет, чистое и спокойное, какое бывает у неиспорченных крестьянских парней.

— Стремилов... — назвали кругом.

Я знал, что человек этот был поэт, отказавшийся от своих стихов. По примеру францисканского монаха, он обручился с бедностью и за отказ от воинской повинности потрепался довольно по тюрьмам. Потом он куда-то исчез и лишь периодически ненадолго появлялся в столице. А взглянув на него, я вдруг вспомнил из его книги начало стихов, которые мне понравились и очень ему подходили:

«Мир вам, пташки мои, мир вам, братцы мои, песчинки и травы мои..»

Сейчас, стоя на кафедре, он минуту помолчал, собираясь с силой и сказал без всякой декламации, крайне просто, слова — не свои, а всем наизусть известные с школьной скамьи. Но сказал он их так, что слушателям показалось, будто слышат они эти слова в самый первый раз:

— ...если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, — я медь звенящая и кимвал бряцающий.

«...если имею дар пророчества, и знаю все тайны и имею всякое познание, а любви не имею — то я ничто.

«...если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет во мне никакой пользы».

Он сказал и, склонив голову, чуть постоял на кафедре. В зале было безмолвно.

После хитрого словесного кружева, после звуковых модуляций лектора и вызванных им не имеющих слова волнений, была странною эта твердая простота.

Стремилов сошел с кафедры и, не сворачивая в раздевальню, так как ничего верхнего он не имел, прошел прямо к выходу. По дороге он нахлобучил на пушистые светлые волосы мохнатую шапку, тоже кустарного деревенского производства, и скрылся за дверью.

Кругом заговорили. Друг друга прерывая, выкрикивали отдельные голоса прямо с мест, по адресу Мэтра, отошедшего поодаль к стене:

— Какую ответственность берете за развернутую вами ин-тел-лек-ту-аль-ну-ю провокацию?

— Куда нас зовете?

— К какому *действию*, намекаете, пора перейти?

Мэтр только пожимал плечами, словно поведение говоривших после него пребывало вообще за пределами здравого смысла и даже едва ли было прилично. Он с своего места от стены, стоя во весь высокий рост, пытался что-то произнести о неправом толковании и, наконец, окончательно — по-гречески.

Я обратил внимание на Тихона. Он порозовел от возбуждения и что-то энергично нашептывал плечистому человеку, стоявшему сзади нас. Несомненно для меня, по его подсказке или настоянию, этот человек в ответ на повторившийся вопрос — к какому действию вы нас призываете? — покрыл вдруг все собрание могучим басом, приставив обе руки в виде рупора:

— ...К вооруженному вос-ста-нию!

Тут произошел неописуемый беспорядок. Кто грохнул хохотом, кто подхватил дерзкий клич. Дама в белом шарфе влезла на стул и, помахивая концом белого газа, истошным голосом призывала:

— ...Через голову! Друзья мои, через го-ло-ву здравого смысла раскрывайте приемники разума высшего! Вступайте на путь!

Появился озабоченный блюститель порядка, толпа шарахнулась к выходу.

Вот тут-то Аничка, отделившись от меня с Тихоном, неожиданно подошла к Мэтру.

Лектор стоял ко мне спиной. Я только мог наблюдать, как низко он склонился, пожимая протянутую руку Анички. Видимо, он с ней о чем-то уговаривался, он предлагал, она соглашалась.

Копной золотых искр вспыхнули при поклоне его откинутые, легкие как пух, волосы. У Анички лицо было бледно. Подавляя заметное волнение, она смотрела прямо, своими неблестящими глазами. Еще раз, уже отойдя, она обернулась, кивнула в знак окончательного утверждения и пошла с нами к выходу.

— О чем был разговор? — спросил я глуповато.

— О чем было мне надо, — ответила Аничка без всякой дерзости и стала очень задумчива. Тихон же, неизвестно почему, взглянув на нее, рассмеялся.

После лекции пили чай у тетеньки. Ее не было дома и хозяйничала Аничка.

— А ведь этот ваш юродивый Стремилов превеликую свинью подложил великолепному Мэтру, — сказал Тихон, глядя в упор на меня, — и притом по линии ритмики, хотя думал он, конечно, только о спасении наших душ.

Тихон вынул из кармана маленькую книжечку в черном переплете и, выводя голосом в нос и свирельно, очень похоже на Мэтра, без слов — одним размером проскандировал тот же текст «о любви», который с кафедры возгласил Стремилов.

— Вот это так *автор*! — похвалил Тихон. — И, заметьте, до чего он прост и ясен. А почему? Да потому, что он владеет подлинным вдохновением.

Тут Аничка вспыхнула и даже встала:

— И у него... и у него искренность и вдохновение!

— Ну, конечно, — протянул Тихон, — я намерений Мэтра в подозрение не беру, только *метод* его — мыльный пузырь. Если горсть песку достаточна для поэта, чтобы вообразить себя обладателем груд золота, то, взяв аудиторию за шиворот и подняв ее на вершок от земли, как сегодня проделал он, — в поэтов ее не превратишь! Проскочить посредством искусства в действительность, лучшую нашей, ее сделать содержанием жизни — удается немногим, и те, гляди, на этом шею свернут...

Тихон встал и начал в задумчивости ходить по комнате. Тут я впервые внимательно его рассмотрел. Если забыть про неприятную белесоватость его прямых финских волос, — лицо даже интересное.

Нечто древнее, скифское, в тяжести лба, крепкого носа, широкого подбородка. И любопытен контраст с выражением, таящимся в этих чертах: непрочность и великое беспокойство, едва удерживаемые упрямым умом.

Тихон остановился и продекламировал:

— Орфей действует на души стихами. Стихам мало быть прекрасными. У стихов особое, *магическое* призвание — вдохновлять души.

Тихон резко повернулся ко мне и заговорил гневно, не прерываясь, как оскорбленный хитростью подсудимого прокурор:

— Он звуковыми изысками чарует чувства, он призывает к нарушению привычных кодексов и границ — а для чего? Конечно, я понимаю, что это нечто совсем противоположное увлекающей толпу арцыбашевщине... Это совсем *наоборот*. Это не призыв распоясаться во имя сверхчеловека, это призыв — *пренебречь*.

Да, пренебречь всякой низшей природой, ее преодолеть, выбраться вон из убогой реальности в реальность высшую — но *какую*?

Его посулы, его заманиванья, его удивительный дар, никого не фиксируя, стать каждому вдруг интимным, подобно музыке, столь заподозренной Львом Толстым, — будили в этой толпе еще себя не осознавших юнцов превосходящие всякую реальность возможности. А у кого, спрашивается, творческих сил не имеется, тому какой выход? взорвать свою жизнь? И взорвут... — крикнул он.

Тихон бешено заметался по комнате, но вдруг утих и уже с привычной усталостью докончил:

— ...я, конечно, преувеличил. Не писатель этот, сколь ни блистателен его дар, — все наше время, возглавляемое вдохновением Ницше толкает нас *преодолеть* себя самого, выпрыгнуть к чортовой матери из всего *человеческого*. Только в лакейской чувств орудует хамоватый Санин — на Олимпе, для публики почище — хотя бы этот, прослушанный нами, *музыкальный прием*.

Тихон опять заметался. Аничка с великой тревогой за ним наблюдала. Он вдруг остановился пред ней и с удивительной злостью произнес:

— Зря вы меня сюда выписывали, совершенно зря. Тут нарядная болтовня, мертвецы, юродивцы...

— Клевета! — воскликнул я, задетый его тоном, желая отвлечь его от Анички, — и здесь есть люди настоящие. Только не мудрящие они и совершенно не книжники. Говорят одними своими словами. Простецы.

— Вот антики! — усмехнулся Тихон. — Как же, в таком случае, подобных, простецов, ваши златоусты столичные к рукам не прибрали? По их ведь учению — мистика субъективная иллюзорна и с самим чортом связана?

И действительно, на что эти простецы, если они заслуживают вообще внимание, на что они опираются? Да первый кабатчик, который в посту оладьями объедается, имеет преимущество пред ними. Уж по одному тому, что объедается он по канону. Ну, кто же есть там у вас?

— Кто есть? Дядя Аггей, ныне сапожник, а кем только не был. Яша, часовых дел мастер, из Одессы. Всю свою жизнь из-за одного случая начисто повернул. Есть один беглый с Афона, Дмитрий, и другие, друзья их. Словом — компания *отреченных*.

— Отреченные? — Тихон оживился: — забавное слово, ну меня к этим сведите.

— Хорошо, обоих сведу, — соглашаюсь я, глядя на Аничку, — завтра вечером и пойдем. Там как раз будут в сборе.

Аничка с Тихоном переглянулись, и, как у них заведено, вижу — без слов друг друга поняли.

— Вы, Аня, — говорит Тихон, — все-таки по своей линии лучше идите, благо у меня на нее охота пропала, а я по своей пойду. Вам верхи досмотреть, а мне этих вот простецов. Выгодней нам разделиться и досматривать в одиночку. Времени мало у нас.

— А какова ваша цель? — любопытствую, — и что именно вам досматривать?

— А вам все — вынь да положь, — усмехнулся Тихон, — кажется сами намедни учили меня скромности. Вот я и внял. Провинциалы мы, дескать, приехали в столицу путей жизни искать. Писатель, подающий надежды, и некая с ним Маргарита, чающая *Каны*, по классификации вашего Мэтра...

— Тихон... — укоризненно остановила Аничка.

— Ну, кончил... не буду, — устало махнул он рукой.

Было поздно. Оба вызвались проводить меня до дому, чтобы про гуляться.

Прощаясь, Тихон еще раз настойчиво просил взять его к простецам.

— А можно мне, вместо Анички, приятеля одного с собой прихватить? Ведь вы уже разрешение на двух было дали? — сказал он, хитро щурясь.

Послал я этого Тихона мысленно к чорту, однако делать нечего, говорю:

— Приводите и прятеля.

— Немудрящий он тоже, подстать нашим простецам. Вот сами увидите, — смеется Тихон. — А пока — до свиданья!

А мне уж и его-то вести не хотелось. Простецов этих я сердечно любил и хотел собственно знакомить с ними Аничку, а не его. Тихон прочел мои мысли, нехорошо улыбнулся и, понизив голос, у самой двери сказал:

— А знаете, отчего все мы дохнем без воздуха? Оттого, что со всего решительно каждый процентик себе желает сорвать. То-то!

Придя домой, я по привычке, прежде чем лечь спать, просмотрел газету. Глядь — на весь подвал разогнался первейший наш критик,

и о ком? Вообразите — об этой вот книжонке Тихона, которую я пренебрежительно засунул в свой боковой карман. Критик весьма похвально писал в смысле привета новому дарованию из провинции:

> Книга Тихона Рубцова является прямым продолжением «Записок из подполья», и с новой силой говорит о трагической невозможности, без перерождения собственного, спастись за счет чужой жизненной силы.

На узкой газетной строке, ярко-черным, запомнились мне слова критика, персонально меня задевшие:

> ... напрасно эгоистический вампиризм втягивает любящую его девушку в ту же трясину... гибнут оба.

В результате я в эту ночь электричества совершенно не тушил. Вместо сна внимательно проглотил книжку Тихона от доски до доски. Мысль автора мне стала ясна. А была она в таком приблизительно роде:

...ничего нет кроме *тоски*. Жизнь и смерть одинаково бесмысленны, и все придет в деревянный ящик. И те, которые сейчас так бойко перебирают ногами, воображая, что они куда-то идут, — идут только в ящик.

И, как вывод, автор давал превеселый совет:

> ... по примеру иных схимников—заблаговременно лечь в свой гроб.

Я пришел в ярость на себя самого, — тоже разогнался потчевать провинциалов столичными штучками, — а они вон куда загнули.

Встал передо мной, как живой, опять этот Тихон, и вдруг понимаю его по-новому. Эта внешняя подтянутость, галстучек голубоватых колеров, булавка как у гостинодворца — да все это вовсе не наивность, а мелкая провокация гнусного нытика из «подполья».

Я, здоровый человек, прямо сказать, эту породу убогую терпеть не мог. Хотят убивать себя, — пожалуйста. Так ведь нет, не столь просто.Они больше норовят стрельнуть из незаряженного... как бессмертный их прототип в «Идиоте».

Мастера превеликие развести вокруг себя целое море слез и какую-ни на есть женскую душу — а в нем утопить.

А вот и не дам ему топить Аничку!

Уж конечно это она, им описанная героиня, с которой любит он бродить без всякой цели в вечерних туманах, вдыхать острый запах фонарей и, полузакрыв глаза, сладко мечтать: умереть... умереть.

Я с сердцем захлопнул книжонку. Однако не скрою, в глубине сам я был ею немало взволнован.

Среди всей этой, мне противной, подпольщины, — такой напряженный был вызов, ну, просто крик гибнущего человека. И как бы это справедливее передать — не то, что страх личный или зов ради одного своего спасения, на помощь...

Нет, это было властное, суровое требование каждому, чтобы все решительно бросил, чтобы одним только и дышал, как найти выход из *тупика*.

А тупик вот в чем, по мнению автора:

Полная невозможность сочетать свободу субъективную с правдой объективной. И в то же время — отчаяние, если предашь либо одну, либо другую.

И ко всей этой книге — эпиграф из Гоголя, мне совершенно неизвестный, откуда именно взят:

> Душа заняла меня всего, что же делать, если *душа* стала предметом моего искусства.

АНАНАС

Я любил в сумерки после занятий ходить прогуляться в Михайловский сад. Находясь в центре города, он как-то необъяснимо интимен. Оттого ли, что для любовных свиданий все выбирают соседний Летний сад, гораздо более веселый, — аллеи Михайловского пустуют, и даже ампирный павильон, с которого так прекрасен вид на Троицкий мост и тот берег, привлекают только ребятишек, играющих в неизменные классы, начерченные углем на каменных плитах.

И я был поражен, когда на одном из поворотов увидал Аничку с Тихоном. Они шли, хотя не под руку, но неразделимые, связанные напряженным разговором. Было солнечно и ясно. Я задержал шаги, чтобы не спугнуть естественность их поведения. Благодаря дальнозоркости, я отлично их видел. Аничка, голубушка, шла, опустив голову, уйдя в себя как обычно. Она как-то вся ежилась, и дергались узкие плечи, когда Тихон, наскакивая как петух, уж очень наступал, что-то требуя.

Он повернул в профиль голову, и заходящее солнце ее осветило. Отчетливы были завернутые как улитки крутые ноздри на прямом носу, тяжелы надвинутые брови. В бровях затаенная свирепость — скиф, натягивающий тетиву.

Тихон вдруг обернулся и заметил меня. Он широко шагнул навстречу, Аничка, румяная от волнения, почудилось мне, улыбнулась с облегчением.

— Вообразите, я стал вашим союзником, — сказал мне Тихон, — вот убеждаю Аню не ходить ни на какие мистерии... сам побывал вчера на одной торжественно общедоступной. Какие слова в лексиконе — все «тайны» да «общение в духе». Ведь и до нашей провинции докатилась волна — только у нас взяли да и уверовали всерьез. Больше того, ждут обещанного в стихах и прозе — *преображения*. Да и сам *я*, — привычно скривился он, — когда вчера шел,

нет-нет, а подумывал: а вдруг там не кимвал бряцающий? Однако, просидел часа три — нет, знаете, все-таки «кимвал»! Зал польского общества с фривольными веночками, почти сплошная женская аудитория. Хорошо, хоть молодых и недурных много. Стиль у них, видать, *свой* завелся — отложные воротнички на черных платьях особого кроя. На уши колечки навернуты из волос. И все как на подбор — дамы из приличного общества, из ученых, преимущественно кругов. Верно, так уж дома горничной и говорят: приготовьте мне, Саша, или Глаша, вечернее платье... ну то, для религиозно-философского...

— Кроме стилизованной публики там бывают и выдающиеся по темам и качествам доклады, — прервал я не без раздражения, хотя самому давно наскучило ходить в это, сейчас уже неживое, место.

— Что же именно вам выпало на долю прослушать?

— Ну, читал один философ акафист другому, хвалил его за «щит и меч» воина христова. По окончании презабавный некий субъект дерзко спросил: — А неужто Христу нужны воины? Любимый, говорит, ученик, как известно, был попросту безгласен, а Петр, если и выхватывал меч, то именно с этим мечом — в калошу сел...

Ну, с еретиком этим, таким худущим, клокатым, они чуть не в рукопашную... И хоть пели при этом они о «новом теле христове» — такую, сдается, соткут своим хитроумием плотную хламиду, что ни до чего живого сквозь нее не добраться.

— У меня, знаете, последняя ставка на ваших простецов, — сказал Тихон очень серьезно: — схожу к ним и баста, ничего, никого — обратно домой. Не раздумайте, право, сведите меня.

— Ну, хорошо, — говорю кисло, — если вы не передумали — приходите вечерком. Чаю напьемся и двинемся.

— Я тоже приду к вам чай пить, — вызвалась Аничка и покраснела, — от вас каждый уж дальше, по своему делу...

Вечером наставил я вин и закусок, к парикмахеру сбегал, и этаким дураком полчаса хорошился пред зеркалом, а сам думал — как бы этот Тихон не рассмотрел моих намерений. Уже по книжке его понял — он с нюхом. Значит, надо мне как зайцу напетлять, затемнить — не то он всю мою стратегию насчет спасения Анички как орех раскусит — такой-то паук неосторожную муху из теней нелегко выпустит. А что она как-то попалась и он ее держит, у меня сомнения не было. Только разобрать до конца не могу, что-то необычное.

Они пришли вместе. По тому, как Тихон шубу повесил, поправил ее, чтобы не криво — и на черта ему! — вижу, плохо парню, и за каждую мелочь, за внешний пустяк цепляется.

Аничка сказала с беспокойным укором:

— Да кончайте, вы, скорей с гребешком!

Тихон шейный фулярчик аккуратно сложил и долго водил гребешком по своим финским бедным волосам.

— Ничего, — дело молодое, — защищаю я немножко фальшиво,— все мы в свое время перед зеркалом стаивали.

Тихон на минуту повеселел. Глянул на меня таким понимающим глазом и захохотал. Молодое, очень привлекательное оказалось лицо. Я же, как дурак, сконфузился.

Тихон навалился на закуски, на вино, стал острословить. Аничка же была молчаливо-неспокойна. По тому напряжению, с которым она следила за ним, — опять вижу — давние у них отношения. Без слов один другого чувствуют, а *кто* они друг другу — все еще мне не понять. Ни супружеского, ни жениховского оттенков не наблюдаю. Новое что-то. Напряженность и беспокойство, а вот радости — никакой. Даже и ревность моя вся прошла.

И наблюдаю — все боится Аничка, что Тихона как-то прорвет:

— Не пейте больше вина, ведь нехорошо вам будет!

— А успех-то мой литературный вспрыснуть надо? Небось, у хозяина вдова Клико для друзей припрятана.

Нашлась вдова. Розлил я в бокалы, чокнулись:

— Пью, говорю, за вашего, прославленного известным критиком первенца! За недосугом, к сожалению, не читал, но не премину...

Тихон снял вдруг свое веселое лицо, как снимают маску, глянул мутно-устало, глаза как в бельмах:

— Зачем это вы неправду сказали? Если уж критику на меня прочли, то не поверю, чтобы тут же не спохватились и книжицу проглотить. Уж из одной вашей склонности к Аничке поподробней узнать, что за фрукт при ней значится! Признайтесь, — вы меня по началу за пустое место сочли? А тут кинулись книжку штудировать, неприятные особо места злобным ногтем отметили. Давайте-ка учиним обыск в вашей спальне, как раз и найдем.

— Тихон, прошу вас, не начинайте...

Аничка встала, обхватила Тихона за плечи, что-то зашептала ему в самое ухо.

Он, как усмиренный зверь, с покорной усталостью сказал:

— Ну, ладно, не буду.

— Однако, если итти к простецам, то нам пора, — сказал я, указывая Аничке на большие часы. — Может и вы с нами? Не перерешили?

— Аничка приглашена на большие *элев-син-ские*, — протянул Тихон. — Я ее провожу сейчас до места назначения, по дороге забегу за приятелем — он ждет, и мигом буду по данному вами адресочку. А вы раньше нас поспешайте, вроде как предварить ваше общество «спасанья на водах» — о двух новых тонущих.

Я пошел к своим простецам. Не могу сказать, чтобы примыкал я к их братству — слишком интеллигент был, и назваться как они — дети Христа живого — я, конечно, не мог. Но какое-то особое освежение и радость от них я всегда получал и питал к ним невольное уважение. Нравилось мне и то, что они люди не моего круга, действительно — *простецы*, — и верить искренности их я могу.

Дядя Аггей брал сапожную починку, Дмитрий Афонский столярничал, Яша, оседлав нос какой-то подзорной башней, колдовал над часовым механизмом. Жили все вместе.

Вошел я в переулок по ступенькам вниз, в подвальный этаж. Через занавеску видать — сидит на столе кудлатый медведь средней величины — дядя Аггей. Делает очередную починку — значит, все в порядке. По комнате мечется щупленький, легкий, весь какой-то ветром носимый, Яша.

В последнее время в волнении Яша — евангелисты одолевают. К себе его тянут, адом запугивают, на жену его Лию воздействуют — это главное. А жена, как банный лист: вступи да вступи! Сейчас ты людьми вроде сумасшедшего считаешься, — вступишь, не стыдно с тобой опять жить. В этой общине и немцы и евреи, ей почет за границей, и верят там по правилу, а не как в голову взбрело. Словом, евангелисты — всем понятное, приличное место, и станет Яков.— как люди.

Велик соблазн бедному Яше — сирота он без жены. Однако знает твердо: вступит в общину — утратит свое драгоценное. Вот и мечется, вот и бормочет: враги человеку домашние его...

Вошел я, расцеловались. Сказал им, что из провинции двое напросились притти.

— Да ведь мы малограмотные, — отозвался с окошка Аггей, — нехорошо, если ты их лишним чем обнадежил.

— А я совершенно напротив, — сказал Яша, — я сегодня настроенный говорить... посвидетельствуешь — и сам в себе силу имеешь... Но чайку необходимо взогреть!

Яша принялся разводить огонь в маленькой плитке, дядя Аггей кропал шилом, и на стук пошел отворять двери я. Оказался Дмитрий — третий жилец этой комнаты. Он всех приветствовал и стал к стенке спокойный, слегка застенчивый по своему обычаю.

— А купец-то меня с работы прогнал, — сказал он, окая и улыбаясь.

— Уж не иначе — ты с ним о вере заспорил, — догадался Аггей.

— Да я и без спору сказал — отметаюсь рукописных книг и синодского толкования. А не то он как дятел меня словами долбил. Довольно, говорю, — одно имя исусово исповедую — хватит его. Посулил в остроге сгноить, расчет кинул.

— Куды ж ты теперь?

— А земля потянула — мне в городе, что в ошейнике, — улыбнулся Дмитрий, — сговорился с смоленскими грабарями, на утро уйду. На землю меня тянет...

В дверь опять постучали. Дмитрий впустил Тихона с приятелем. Сразу узнал я этого приятеля — это был тот, что на лекции крикнул про вооруженное восстание. Лицо его было примечательно: лоб тяжелый, надвинутый на глаза, непокорный. Все лицо обнаруживало больше неистовство чувств, нежели склонность к мышлению. Рот благороден, усы чуть-чуть, короткий нос и шапка волос, густых, крупноволнистых. Шея крепкая, воловья, отчего голова еще тяжелей и как бы готова боднуть. Роста среднего и гибок, судя по тому, как взобрался легко на пустые ящики в углу, как сел выше всех, подперев подбородок кулаками, в позе роденова мыслителя.

— Ишь ты, архангел какой помраченный, — вымолвил, взглянув на него, дядя Аггей, — и видно было, что юноша ему сразу понравился, — ты чемоданчик-то свой хоть на окошко поставь, — повернулся он к Тихону.

Переглянулся Тихон с юношей — нет уж я чемоданчик при себе, у меня важные в нем документы.

Тут Яша, как добрая тетка: а вы себе испейте чайку, и сахар имеем...

— Вот к вам на часок зашли, — говорит Тихон, и к удивлению замечаю — волнуется. — Приезжие мы, так вот хотели бы...

— А ты не громозди слов, меньше наврешь, — остановил Аггей, — пришли и ладно. Мы разве таимся? Мы первые кричать готовы, где и что именно нашли. Чем живы. На ладони все дело наше. А науки никакой с нас не спрашивай.

И, хоть Яша всегда выпрыгивал говорить первым, пока Аггей, нахохлившись медведем, над сапогами шилом кропал — в этот раз заговорил первым Аггей.

— Отреченного мы пути, не церковники. Соборы-то утверждали, али там отвергали буквы, — а жизнь живую творили, лучшую, говорю, жизнь — простые люди. По великой работе сердца имели указания...

«И первый вам пример — Савл, гонитель. На кого он опирался? Бегал куда за справкой, как именно веровать? И не опирался и не бегал.. сновидению своему собственному поверил крепко — ну, а ему за то целый мир. А ведь он и не скрывал, что *единолично* увидел. Поверили, ибо поведение свое изменил.

«Савл нам основа. Не исповедание, значит, а *поведение*. Гори огнем, чтобы самый воздух вокруг тебя, как пламя. Всю дрянь огонь-то сожгет. Чтобы мир не протухал, по мере сил и разумения гореть

надо. Вот и пытаемся. И Яков и Дмитрий, хоть хворые, а пламенные. Ну вот, милые, — развел руки дядя Аггей — не обессудьте, в полчаса времени мы у вас на ладони. Взять больше с нас нечего. Больше того, что своим опытом мы сами узнали, не знаем. Ни учености, ни рассуждения у нас нет.

— Про свой опыт вы нам еще ничего не сказали, — говорит вроде с почтением дяде Аггею тихонов спутник, — прошу вас очень — скажите.

— Пусть будет полная экс-по-зи-ция, отечественное состязание, вроде как певцы в Мейстерзингерах, — спохватился Тихон надеть свое привычное ироническое лицо.

— Чего-с? — не поняв, переспросил дядя Аггей и опять, разведя руками, повторил:

— А больше того ничего не знаем, что сами узнали. Потому деревенские мы, из пастушонков, и призрел нас, хотя бы скажем — дядя Потап. Тоже простец, однако же прозорливец. В явлениях природы были ему — *литеры*. А через эти литеры тропу жизни узнал. Частенько говаривал: — хватит нам все на бога валить, ноне дело хозяйское вручается человеку. На земле-то хозяин он.

— Какие же именно *литеры* вашего дядю этому обучили?

— А вот хоть бы *кол* для примера... Выдерет дядя Потап кол из плетня — он ему и литера. С одного конца изогнут наподобие серпа, другой же в земле застроен, ровно меч. И пойдет старик смотреть в корень:

«...серп указует на скорые времена, когда перекуются мечи в серпы и войн вовсе не станет, ни вражды. И деньжищи проклятые в навоз свалят...

«Находили на него эти литеры больше в закатный час, когда уж в черной прохладой поле возьмется и коровушки с полным выменем к дворам тянутся. А травы в тот час, за день растомленные, как ладаном курятся — тут тебе дойник медовый, повилика, полынь-трава...

«Помню, однажды, в подобный вот час, среди нас, пастушонков, среди зверья умного, среди лесов и полей — упал дядя Потап на землю и пречудно воскликнул:

«— Любовь великая! Охвати людей и тварей, и, если возможно, самого дьявола охвати, и всю злую ратную силу. Возлюбим, дети, вселенную до великого веселия сердец!

«И вдруг попрощался с нами дядя Потап и ушел неизвестно куда, а я стадо в деревню пригнал. Не возмог ни есть, ни пить в тот вечер. И вошла в меня от дяди Потапа эта самая любовь. Огнем сердце взялось. И жалко мне всех людей стало, и зверей, и солнца, и самого воздуха жалко. И не удержался на месте... пошел и я по земле

нашей великой, сибирской, и стал говорить людям об легком своем духе, что счастливым меня делает и во всяком деле подсобить может.

«Никем не запуганный, простец, веровал сам и других облегчал.

«И было так, пока монахи меня лестью и страхом в монастырь не вовлекли. Пуще всего страхом взяли: — в одиночной твоей хвальбе, гордыня, дескать, сатанинская, без нашего руководительства в ад попадешь и на вечную гибель за собой людей туда ж стянешь.

«Устрашился и принял правило. А как принял — попал в столь окаянную яму, что самому б и не выбраться. Удача моя, что посрамлен был от иноверцев. Однажды — бурятом, идолопоклонником, вдругоряд — буддистами. На самой на границе нашей земли. Разный народ ведь у нас в Сибири... а посрамления эти меня в прежний разум ввели.

«По забайкальской области послан я был с крестным ходом. И вот сейчас, через много лет, без содрогания вспомнить не могу всех ужасов обиранья карманов, народа простого и доверчивого.

«Главное дело вышло так: заехал я, миссионерствуя, к одному буряту в юрту переночевать. Глянь — а в юрте, промеж других бурханов, по-ихнему — идолов, икона казанской с младенцем.

«— Да ежели ты крещеный, — говорю, — по какой причине рядом с иконой своих идолов терпишь?

И говорит мне на это бурят, вполне доверчиво говорит, как дитя:

«— Пробовал, бачка, русскую икону одиночно, без бурханов держать, только старый мой бог как рассердится! Жену мою себе брал сына брал... ну, и стал я ему рядом молиться. Знаешь, бачка, шибко тяжело это, болит на душе, что менял я старого бога на нового.

«Заплакал, как ребенок, бурят, а мне хоть волком вой. Про такое ли дядя Потап заповедал, чтоб мне людям нести? Ну, явился я по начальству и говорю наотрез: насильно крестить бурят этих не стану. Потому что...»

— А с буддистами как у вас вышло? — деловито, как следователь, прервал Тихон.

— С буддистами? Что же, можно и про буддистов, если, как вижу, вам для осведомления, — чуть улыбнулся дядя Аггей.

«...ну, повел меня к этим буддистам в кумирню один знакомый, — приглашают, дескать, на беседу монахи. Ламы все собравшись, шеретуй ихний для какого-то дела приехал.

«Ну, пошел. Вежливый народ. От монахов я на зубок был обучен, так они с отменным вниманием мою проповедь слушали. Без запинки отбил, кончил. Один из ламов поклон мне отдал и сам говорить в ответ начал. Расчудесно, оказалось, знает все наше, только говорит обо всем поумней, чем я выучен. И вот этот лама душевно воскликнул:

«— В чем же, полагаете, самая главная воля учителя вашего? Не

в том ли именно, чтобы последователи его *жили*, именно сказать — *жили* как он, у которого все учение было лишь эпохой его праведности?

«И пошел этот лама всех нас обличать. Со степенностью все, с поклоном, но столь прегорькое обличие вывел из всего обычая нашего миссионерского, что подобного сраму отродясь я не испытывал. И возразить было мне нечего. Молча, сокрушенный, удалился я из собрания. Отъехал немало и словно бы не дышал, весь окремнел на коне...

«И вдруг я своего дядю Потапа, как живого, всем сердцем увидел. Слез с коня, пал на землю, и как исступленный, сам с собой стал в пустыне кричать: — Пусть буду животным, собакой, волком, змеей— всем, всем... Только б опять мне коснуться любви! Отрицаюсь синодского знанья, весь хочу взяться как пожаром, любовью. Ну, вот, значит, при подобном решении и остался».

Весело глянул дядя Аггей медвежьими, глубоко засевшими под бровью глазами и, вскинув бородищей на Яшу, сказал:

— Живы ль мы?

— Живы! — ответствовал, радуясь, Яша.

— Живы! — сказал тихо Дмитрий.

— Это что же у вас, клич такой! сигнализация? — скривился Тихон. — Ну, вот видите, и вы значит, без слов не обходитесь? С одного слова начнете, к нему, не заметите сами, как второе и третье пристанет. И не оглянетесь —словами огонь свой зальете. Не вы — первые, это известная история всех религий. И второе: почему именно вы имеете основание предполагать, что находитесь в истине?

— Свидетельствовать надо! — сказал строго Аггей Дмитрию.

— Свидетельствуй себе понемножку, — предложил ласково Яша, не выпуская из рук свеже вскипевший чайник.

— Свет принял — слова растерял, — потупился Дмитрий. Он помолчал. Все думали, что он собирается с мыслями, и ждали. Но Дмитрий, как бы получив внутренний ответ, еще раз повторил радостно и застенчиво: — растерял я... растерял все слова.

— Верю вашей искренности, — дал отпускную Тихон, — и вижу, что для себя вы нечто нашли. Но почему вас столь мало беспокоят другие люди? Как бы другим передать? Поискали бы, што ль, доказательств?

Дядя Аггей работу оставил, вылез из своего угла и во весь свой большой рост встал пред Тихоном:

— А главное дело ты, барин, не понял. Ничего, как есть, мы доказывать не берем. Сами, вишь, живем по-иному, чем допрежь жили. Кто не поленится, тот досмотрит. И не от слов — от *жизни* нашей заразится веселым духом. А какие мы учителя? Да мы от учительства-то и бежали.

«Между прочим, сообразить одно надо: не Никодиму ученому, нет— Савлу гонителю живое-то открывается. Поговорит Никодим, и все тут. На завтра возьмет свой портфель, того ли, другого, времени, верхнее какое накинет и на службу пойдет. И ровнехонько ничего переделывать к лучшей жизни такой неспособный. Не Никодиму— *Савлу-гонителю* вся полная правда открылась, а почему? Да потому, что Савел гнал *неугомонно*. Неугомоном сделаться надо — это и есть *живой*. Вот хоть бы с Яковым нашим пример...»

— Лю-бо-пыт-но... — протянул Тихон, — рассмотрим пример!

Я было подумал, что Яша отбреет его. Бывал он обычно вспыльчив, но в этот вечер, по своим особым обстоятельствам, так полон был жажды *свидетельствовать*, как он выражался, что, поставив снова кипящий чайник на стол, рассказал он простыми словами, не стыдясь, свою историю человека первого века нашей эры:

— ...я так сильно клял его и обругивал, что один заказчик, совершенно притом неверующий, только справедливый человек, впал в досаду и говорит: — вы, Яков, довольно глупо ругаетесь, не зная сути дела. Почитайте себе хоть немного из его книжки и вы, будьте уверены, найдете сами, что если б он был опять живой, — то погромщики его первого б и ухлопали. Ну да, в самую, как говорится, переднюю голову.

«Ну, я брал маленькую книжку и я себе читал. Вообразите, читал в самый первый раз. А я-таки давно ничего не читал и уже тору не пел, как бывало, и отец мой звал меня апикойрес, что значит безбожник. И было мне в те дни на душе — ну, как бывает одному верблюду в совершенно безводной пустыне. А тут я вдруг весь день читал снова как молодой и работу забросил. И вот, вообразите себе, настала ночь — и ночью это со мной случилось».

Я слышал яшин рассказ не однажды и больше всего мне нравилось, что он очень заботился о чисто топографической верности. От этого в речи его была трогающая убедительность. Говорил же он нелепыми, детскими словами.

— ... и вот ночь, уверяю вас, спустилась. Направо у нас в комнате печка, налево стол с инструментами. Ну, и сам он вышел, вообразите, из-за этой печки. И он обогнул лавку, притом забрал пол чуть повыше — ой, как неслышно, ну совершенно по воздуху шел. А я себе стою в одном нижнем и совершенно не верю, хоть вижу двумя глазами. Но когда он стал тут вот, у самой стены, рядом с часами, и когда он-таки сам посмотрел на меня как ужасно знакомый — ну, тогда я больше не мог.

«Я стоял, и рука моя держала спичку, чтобы чиркнуть ею свет. Потому что ведь я не забывал, что это не день, а ночь. А ночью нельзя видать человека — ночью надо зажигать огонь. Но он такой был

как солнце, и я, вообразите, вдруг заплакал от радости. И когда я так сильно развеселился — он вошел в меня светом луны и всех решительно звезд. И замечательно, что глаза мои лили сами слезы.

«И хоть мне совершенно светло от него, я все чиркаю спички, потому что моего разума я вовсе не хочу потеривать. И говорю сам себе: ты должен зажигать спичку и свечку, потому что сейчас ночь, а ночью можно только видать при свете. А жена моя Лия ничего подобного не видит и говорит: «И чего ты, Яков, по пустякам чиркаешь? Спички стоят деньги!» — «Лия, говорю, смотри немного обоими глазами и кто к нам приходил?» Опять Лия ничего подобного не видит и обругивает меня ночным фантазерчиком.

«А я-таки не сомневался и между прочим оставил совершенно свой дом. Ведь я же должен был, как честный человек, свидетельствовать, если я не сомневался. А за это мой отец положил на меня хойрем, проклял меня, и жена моя Лия стала стыдиться меня как безумного.

«Но я, вообразите, я нашел себе новую семью. — Он повел рукой на Аггея и Дмитрия: — и я снова работаю с часами. Только стал я сам в себе новый веселый человек. А прежде, прошу вас поверить, прежде было мне на душе, как верблюду, ну, в совершенно безводной пустыне, и я близок был накладать на себя свои руки».

Кончил Яша, опять завозился с чайником, налил всем нам по стакану.

Пришедшие слушали с большим вниманием и даже Тихон больше не удерживал на лице своем привычной усмешки. Из стакана молча, в большой задумчивости хлебнул. Насупленный встал, держа в руках чемоданчик, сконфуженно боднул головой и сказал:

— Хорошие вы здесь люди, я вам верю, и за это вас благодарю.

Он было к дверям подался с своими чемоданчиком, а Тихон вдруг нехорошо как-то улыбнулся, словно нож в мыслях своих оточил, подошел к приятелю и чемоданчик из рук его взял.

— А вот, между прочим, — говорит, обращаясь ко всем простецам, — неугодно ли небольшое испытание вашей легкой и радостной вере?

Насупленный весь красный, дергает его, шепчет что-то, чемодан к себе тянет.

— Так нет же, — говорит Тихон, — именно, если уважаешь их, то надобно итти до конца...

Тихон обвел круто всех взглядом, чуть углом губ усмехнулся:

— Вот в чем дело, друзья, вы все, — как из речей ваших выходит — Христа встретили *живого*, притом такого, насколько я понял, который «льна курящего не угасит и трости надломленной не преломит»... ну-с, а мы вот с приятелем, чтобы быть вам понятным, скажу на ва-

шем же языке совсем *иного*, его встретили. Того именно, что плеть занес и торгующих вон выгнал.

А испытание, которое позволю себе предложить, вот оно: оставите ли у себя на хранение подобный чемоданчик? В нем, имейте в виду, *бомба*, и мы ею кого надо в свое время прихлопнем. Если же вы сегодня ее не укроете, то возможно, что прихлопнут уж нас самих.

Метнулся по комнате Яша и стал как вкопанный у окна. Оттуда в крайнем волнении смотрит на дядю Аггея. И Дмитрий, тоже бледный как мел, смотрит на него же. Одна душа у всех, только знают, что сейчас дядя Аггей лучше выскажет.

Дядя же Аггей очки на лоб воздел, на Тихона глянул, да так, словно до сознания его даже не дошло, как совершенно неважное, то, что сейчас было Тихоном сказано. Прямо сказать, думал Аггей о чем-то своем, упершись медвежьими глазками в каменное, скифское лицо Тихона.

— Стало быть, можно оставить? — шагнул вперед с чемоданчиком и замер Тихон.

— Стало быть, можно — ответил Аггей, как по поводу самого обычного вопроса, вполне естественным голосом, не выражая ни малейшего любопытства. Сказал и принялся за свои сапоги.

— Довольно балагана! — крикнул на Тихона гневно приятель и рванулся к дверям.

— Извините... — задержался он перед дядей Аггеем, — это глупейшее вам испытание не я вовсе. Это он один...

— «При-ду-мал», в растяжку докончил Тихон и, не останавливая убегавшего приятеля, поставил чемоданчик на стол. Открыл его и вынул великолепнейший ананас. Оранжево-золотой, с яркими зелеными перистыми листьями из середины.

Ананас этот Тихон водрузил прямо перед дядей Аггеем.

— Не правда ли, напоминает голову индийского вождя на параде? Это превкусно будет вам к чаю. Куда пред ним ваш лимон!

При общем безмолвии Тихон поклонился слегка и ушел.

— Вот таких я еще и не видывал, — сказал дядя Аггей, трогая шилом с осторожностью ананас, — подарить разве дворничихе, чтоб своей генеральше она продала?

ДИОНИС И ГЕРАКЛ

Аня домой не появлялась. Она прислала тетушке открытку, что погода чудесная и она уехала с Аглаей за город.

Очень скоро тетушка впала в беспокойство и стала настаивать, чтобы я в точности узнал, когда Аня вернется и что она в полях и лесах делает.

— Иди в их становище, сегодня как раз среда — у них это все равно, что у нас, христиан, воскресенье.

— Они, чай, в полночь целуют кóзлищу хвост...

У тетушки, как у всякой женщины в гневе, изобретательность в обвинениях враждебной ей стороны так обострилась, что к концу чаепития, пуще разжигаемая моим безмолвием, она докатилась до предположения, что Аничка по какому-нибудь страшному древнему ритуалу уже принесена кровавой жертвой, так что и концов не найдешь...

Так это становилось глупо, что я дал слово завтра же дать точные сведения и, бросив все дела, пошел к Тихону, который, знал я, собирался на *Среду*.

Оказалось, он уже отправился, но не один, а с неизвестным «клокастым человеком, ничуть не барином», — так аттестовала прислуга товарища Тихона. Я догадался, что это был тот самый, которого он приводил к «простецам». Если этот неподходящий человек туда пошел, вероятно, пройду и я...

По крутой лестнице, в самое небо, сопровождала меня веселая молодежь. Может быть, это были студенты или начинающие писатели, или просто читающие новую литературу актеры, — я не мог разобрать.

Все перекидывались замысловатыми намеками и стихотворными строчками, — их объединял свой особый тон.

Одну из очень молодых дам я сразу узнал. Я встречал ее у тетушки и запомнил потому, что тетушка расточала ей особые похвалы, как образцовой юной матери и жене. Даму звали цветочным именем— Гортензия, — это тоже я помнил.

И она меня узнала, успокоила, что неловкости в моем появлении здесь не будет, потому что тут не как прежде, а с появлением Аглаи ходят «всякие». Она ужасно много поспела мне рассказать, пока мы без конца подымались, правда, присаживаясь на каждой площадке.

— Тетушка напрасно тревожится и верит городским глупым сплетням: кроме пользы для ума и характера Аня здесь не найдет ничего..

— А вы зачем сюда ходите—тоже для пользы? Какой же именно?— полюбопытствовал было я.

— Я хожу, чтобы зарядиться... и прожить добродетельно мою всем известную похвальную жизнь каждого дня. Красоту и свободу я вижу здесь в такой мере, что могу обойтись без любовника, — засмеялась она. — В этом доме мне нравится, что связь времен распадается, что я, не будучи сама поэтом, переношусь поэзией то в Александрию, то в Египет, то любуюсь, забывая весь мир, как «словно младая наяда, в пышноцветном хитоне, с венчальной главой, из под-

водных чертогов, из бездны морской, выплывает небрежно Эллада». Чьи стихи?

— Я не знаю современных стихов.

— Да это какого-то старика. У нас заведено играть в отгадки. А этот возник в памяти — кто его знает, кто.

— Расскажите мне про здешнего хозяина, — попросил я, глядя с одной из площадок на улицу, где близко зеленел густой парк и народ толпой валил в него на гулянье.

— И про него я могу сказать тоже только стихами. Прозу я оставила вместе с пеленками дома. Большинство наших бездетны, они не хотят совмещать, а я...

— Скажите стихами.

— Не написаны. Я скажу лучше про хозяина, но тоже не своими:

Ты мне давно, давно знаком,
Знаком должно быть до рожденья
Янтарно-розовым лицом,
Власы колеблющим перстом
И длиннополым сюртуком,
Добычей, вероятно, моли,
Знаком, до ужаса, до боли.
Знаком большим безбровым лбом
В золотокосмом ореоле.

Вот сюда и ходят, кому он *так* знаком. И не только он сам, все древние культы, с ним связанные, которые он так изумительно воскрешает. После того, как он скажет хоть бы свою: «Мэнаду», — ну, на кой чорт мне бесхитростные все любовники!

— Да это выходит просто «моралин» какой-то, этот дом, которого как чумы боится бедная тетушка. Однако, признаюсь, не понимаю, какая зависимость может быть между обладанием столь интимно-конкретным персонажем, как вами названный, и прослушанной чьей бы то ни было декламацией?

— Эту тему я как раз буду развивать сегодня. Я вас позову в наш кружок, — обещала Гортензия. — А сейчас вот вам еще дополняющие тот же образ стихи. В то же время они представляют и самый настоящий печальный ответ на ваш вопрос — почему я сюда хожу? Вам, конечно, кажется искусственным — вместо обычных, прозаических слов собственных, такие пояснения чужими стихами? Но, во-первых, простого, в сущности, только и есть, что корову выдоить — просто все одним простякам. Самое же главное — стихи хороши.

Из стран чужих, из стран далеких
В наш огнь вступивши снеговой,

В кругу безумных, темнооких
Ты золотою встал главой,
Слегка согбен, не стар, не молод,
О, скольких душ пустынный холод
Своим ты холодом пронзил.

— Полноте! — сказал я с нежданным от себя раздражением, — ну какой у вас-то «пустынный холод»? У вас отличный муж — Петр Иваныч, у вас сынок Ваничка, да вы, тетушка за вас хвастала, — вы отменно солите огурцы...

— И у меня прекрасное пищеварение, и даже нет женских болезней. — Гортензия с вызовом взглянула на меня. — Если Тихон Рубцов Ане не пара — то уж никак и не вы! Нам в пору сдохнуть с такими мужьями.

Она пролетела стрелой в открытую на мой звонок дверь и, не раздеваясь в передней, как своя, скрылась в дальних комнатах. А я замешкался, вешая пальто, и был настигнут самим хозяином, предложившим любезно, без всяких опросов — кто я и зачем, приступить к *трапезе.*

Он сказал это старинное слово несколько в нос и певуче, слегка склонившись светлой бородкой, отчего легкие, как ковыль, волоса, седоватые с золотинкой, привспорхнули над головой. В этом полупоклоне, сквозь дрогнувшее на большом мягко-горбатом носу пенснэ, пытливо зырканул зеленоватым огнем умный глаз с острой точкой черного зрачка. Бровей не было, и это приближало лицо к намеренным портретам да Винчи.

— Трапеза ждет всех пришедших, — приятно в нос повторил он и, как учитель танцев в голове шеренги подростков, чуть вытанцовывая провел меня в столовую.

Слово *трапеза* по ассоциации вызвало у меня представление сводчатой монастырской столовой, где на скамьях сидят в чинном безмолвии монахи, а посреди, за небольшим аналойчиком дежурный брат читает Житие.

Ничего похожего не было в длинной комнате, куда привел меня любезный хозяин, минуя другие комнаты, удивительные разнообразием размеров и многочисленностью.

На узком большом столе стояла четверть какого-то белого вина, наполовину выпитая, обставленная стаканчиками. Были тут и сухарики.

Из разных дверей входили писатели, поэты, просто люди, известные и неизвестные. Чаще попарно, как они где-то вели разговор. Продолжая его, в увлечении ничего не видя, утоляли жажду, загребали сухарики и уходили договаривать туда же, откуда пришли.

Вмиг четверть докончили. Приятная седоватая дама, неслышно ступая, унесла пустую, а прислуга в обнимку принесла свежую.

— У вас сегодня хотел быть мой знакомый писатель Тихон Рубцов, — сказал я хозяину, — он...

— Он в одной из комнат, — неопределенно указал он белой ровной рукой, — нашел собеседника. Я вас проведу...

Но провести не пришлось. К хозяину подлетели две дамы, предлагая разрешить какой-то археологический спор. Я пошел один искать Тихона.

Эта квартира была действительно необыкновенна. Кружилась голова от размеров комнат — треугольных, квадратных, то узких, то совершенно круглых, имевших стеной выступавшую башню дома.

Во всех углах голоса спорили, кричали с надсадой, что-то доказывая, кто декламировал, кто напевал...

Мне путь заступали шкафы, полки, набитые до отказа старинными и новыми книгами. То наткнулся на колонку с голым эллинским богом, то оказался в узком проходе прижатым к стене.

Тускло, но приятно золотились старые рамы великолепных гравюр. Откуда-то свисали ковры, отчерчивая еще особо тайные укромные загоны. Там шептались пары, порой медитируя; как молодой Будда сидел, поджав ноги, какой-нибудь юнец.

Ковры под ногами, много ковров. Были очень хорошие, были обыкновенные, истертые до лысин. Были нездешние, с диковинным рисунком.

Я так закрутился, что, путая двери, вернулся обратно. Электричества не зажигали, белели свечи в старинных канделябрах, был полумрак.

Мне стало казаться, что никуда я не шел, а пребывал в одной этой комнате, и она, как в страшном рассказе Эдгара По, была с подвижными стенами.

Казалось, кто-то незримый охватил мое сознание геометрическим мо́роком и потешается, окружая меня треугольником, кругом, трапецией.

Нигде не били часы, я их здесь не видел. Даже у споривших мужчин, среди которых я слонялся в поисках Тихона, я не заметил этого привычного жеста в жилетный карман за часами. У женщин, обратил я внимание, вместо черных деловых ремешков и кожей охваченных крохотных циферблатов с стрелками, были браслеты, вернее серебряные запястья с львиной головой или из древних камней, из зубов крокодила и кто ж его знает кого. Донеслось откуда-то пение и мне неизвестная музыка:

Смерть и время царят на земле,
ты владыками их не зови...

И, правда, здесь время выпадало из сознания. Сознание отдыхало и чувства, как в детстве, хотели необыкновенного. Но Тихона я все еще не нашел. И двинулся опять в коридоры.

Вдруг я услыхал разговор, который меня заинтересовал, и я опустился на мягкий пуф, стоявший в одном из загонов между шкафом и стеной.

— ...Одиссей, чтобы оградить себя и спутников от соблазнов, отверг чашу Цирцеи. В символике Гомера смысл тайных посвящений Востока, основанных на глубоком знании законов природы и человеческой воли.

— Что скрывается под Цирцеей? — спросил голос юный и трепетный, на что глухой баритон с несколько иностранным оттенком ответил:

— Цирцея — природа со всеми вожделениями и страстями. Запомните особенно крепко: страсть — определение состояния *пассивного*. Не правда ли, это противоположно обычному воззрению? Вы победитель, когда пересоздадите себя самого. А для этого надо...

Я чуть пошевелился, разговор тотчас умолк. Ковер уголком подняли, и в меня уставился голый череп, горбатый тонкий до прозрачности нос и глаз, острый как шило. Другой глаз был с белым бельмом, и мне показалось: он вдруг бешено закружился.

Я испугался и бросился вон.

Я попал в другую комнату, обширную, с диванами и ковром на полу. Сидели везде. Насколько в сумраках было видно — все молодые, не бородатые. У них шла непонятная мне игра. Моя знакомая Гортензия, та, с которой я подымался по лестнице, стояла посреди на ковре. Импрессарио игры, должно быть музыкант, только что исполнителем бывший в концерте, — он был в черном фраке и белом крахмале белья, — не без грации махнул носовым платком, и к Гортензии подошел известный уже модный художник, я его узнал. Он подошел молодо, поводя плечами, как после бодрящего купанья, лицо его дрожало от радости встречи. Он обожал.

— Ну-с господа, дешифрируйте! — крикнул импрессарио.

— Да чорт его знает... многое подвести можно... и сказать неудобно.

— Ошибаетесь. Задание точное: «молодой человек знает, что у любимой им женщины старый муж». Но сейчас задание будет обратное — у дамы муж молодой щенок, мальчишка, и он ей слегка надоел. Al-lons! — импрессарио махнул снова платком, и тотчас художник перестроил лицо, стал маркизом времен реставрации, обещающим замутненным взором запретные наслаждения.

— Тьфу, какой мерзкий! — оттолкнула его Гортензия, — только что глаза голубели невинностью — и вдруг с эдакой дрянью...

— Первый приз! — закричали с диванов.

Я не стал любопытствовать, в чем он мог заключаться, и спросил только кого-то в сером, вышедшего вместе со мной:

— Скажите, что же это за новая игра!

— Игра в «*метаморфозы*», рафинированный психологизм. Однако хозяина все равно никому не переплюнуть. Ему стоит вытянуть на столе бледные руки и склонить голову вроде как на картине да Винчи, как все невольно прошепчут: Il Redemptore. — У всех притом чувство принадлежности через него ко всем древним культам, — презабавно наблюдать. Я не завсегдатай, хозяина ценю как изумительное явление в области мысли и слова, и досадно мне это его домашнее баловство. Он готов излить свои дары на кого попало. Так раньше здесь не было. Бацилла fin de siecle внедряется всюду. Скучают люди. К тому же некая друидесса внесла понижение тона и вкуса.

— Вот не знаете ли, где сейчас она? — спросил я поспешно.

— Представьте, случайно знаю. Она за городом, с выводком новых, ею набранных ведьмесс или пифонисс, как угодно. Собирают, как сама мне сказала, целебные травы, посвященные весенним древним богам. Травы чистые, полезные, я сам брал недавно для флюса ромашку из ее священной аптечки. Тогда она мне и сказала, что особым постом готовится к собиранию свежих трав.

— Благодарю вас, мне было очень важно узнать...

Я, наконец, в узкой комнате нашел Тихона. Впрочем, узнал я не его, а силуэт того, клокатого. Он сидел на окне, и белая ночь, светясь за его плотной фигурой, ее выделяла, как темную скульптуру.

Он повидимому кончал с Тихоном серьезный разговор. Какой-то решающий.

Клокатый, весь подавшись вперед, вполголоса что-то предлагал. Тихон сидел, уткнув ладони за уши, как бы держа в них свою голову. Локтями упирался в колени.

— Что же, ты едешь со мной? — склонился ниже клокатый.

Тихон молчал.

Клокатый тронул его за плечо:

— Едешь ли, говорю? Ведь хотел?

— Ну, и раздумал...

— Как ты ни относись, у нас смысл *реальный*. А кончать этаким Петронием в наши дни просто-напросто смехотворно.

Клокатый с явной досадой спрыгнул с окна. Встал и Тихон.

— Я на всякий случай тебе еще завтра одну записку пришлю. В польском зале будешь?

— Ну, буду. Присылай. Может, еще раз перерешу.

— Неврастеник, брат, ты...

Клокатый не пожал руку Тихону, а, мимоходом погладив его по плечу, вышел вон.

Тихон меня увидал, сказал, оживившись:

— Садитесь теперь вы на окно. Ну что, узнали, где Аня?

— Некто в сером пиджаке рассказал мне, что ничего с ней плохого не сделали. Она с отрядом юных пифонисс, как он их назвал, под ферулой Аглаи, под городом собирает травы, скоро будет обратно.

Тихон благодарно пожал мне руку.

— Человек, который только что отсюда вышел, — вы его видали?— человек этот уверяет, что назрел опять, как в дни пятого года, взрыв энтузиазма за дело пролетариата. Он утверждает, что сила Эроса утекла с вершин культуры туда... к массам. Их воля в жизни опрокинет весь наш «конец века» скорей, чем мы думаем. Что ж... я только приветствую.

Раздался тихий звук гонга. Из одиночек все выбрались в общую комнату.

Расселись — кто на диванах, кто на полу. Кто-то зажег свечи в канделябрах, ему крикнули, что не надо, оставили гореть только за статуей Геракла с младенцем Дионисом. От освещения контуров ожила бронза. Хозяин стал рядом, чуть держась белой рукой за колонку, легкие волосы тонким золотым нимбом выделяли его голову.

— Воскрешенный культ налицо — бог, жрец и поклонники... — сказал мне Тихон, — сядем хоть на пол, а то эги не видать, ухнешь в какую-нибудь реликвию.

— Меня наши юные посетители просили сегодня суммировать главное, что сказано мною относительно Ницше и Диониса, — сказал хозяин, снял забытое на носу пенснэ и тонко улыбнулся. — Если мне удалось это сделать достаточно убедительно, то труды мои, надеюсь, заслуживают быть прочтенными. Однако, по долгу гостеприимства исполняя просьбу милых ленивцев, скажу из себя самого несколько строк.

Он чуть дернул вверх головой, отчего правильность светового нимба нарушилась, свет от горящих свечей канделябр заскользил боковым освещением по всему лицу. То обегал очертания большого лба с откинутым «золотокосмым ореолом», то, выхватив на минуту из сумрака вдохновенно приподнятый профиль, золотил одну крайнюю точку — конец слегка раздвоенной бороды.

— Да, это Ницше возвратил миру Диониса! В этом было его посланничество и его пророческое безумие. Но что же это означает *для нас*?

Он говорил, словно ронял разрешающие заклинания, очень певуче, слегка в нос:

— Да, снят колдовской полон душ потусклых. Зазеленели луга. Сердца разгорелись, напряглись мышцы высокой воли. Значительным стал нам миг мимолетный. Каждое дыхание улегченным и полным. Усиленным биение сердца. Ярче, глубже, проникновеннее глянула в душу жизнь.

Он вздохнул глубоко, выдохнул полной грудью свое дыханье как *избыток силы* и сказал с торжествующим пафосом:

— Мы хлебнули мирового божественного вина. Мы почувствовали себя, и нашу землю, и наше солнце восхищенным вихрем мировой пляски.

Он привел по-английски строку из Шелли — о земле, танцующей вокруг солнца:

The Earth dancing about the sun...

И тихо, с удивительным мастерством проникновенно-пониженного тона заключил:

— Спящие в нас возможности человеческой божественности заставили нас вздохнуть о трагическом образе Сверхчеловека. О воплощении в нас *воскресшего Диониса*!

Вдруг среди всеобщего напряженного молчания раздался вопрос. Он был как тяжелый, с силой брошенный камень, возмутивший зеркальную гладь искусственно огражденного озера. Сидящий рядом со мной Тихон спросил:

— Что же вы станете делать с этими *воскресшим*? Что взорвет он? Кому поможет? Каковы конкретные цели ее приложения, если эта новая сила *реальна*?

— Здесь все темы ставятся как темы культуры, а не как темы жизни... — поспешно и гневно ответил кто-то из мрака. А сам хозяин, зажигая другой стоявший на столе канделябр, несколько высокомерно и уклончиво пропел:

— Есть гении пафоса, как есть гении добра, — не открывая ничего существенного нового, они заставляют, однако, ощутить мир *по-новому*. Наконец, для просветления *лика земного* наши сердца должны измениться, должно произойти преображение всего душевного склада, перестрой всего созвучия наших чувствований. Перерождение...

— Но для чего? Цель? — как топором рубил Тихон, поднявшись с пола и двигаясь к статуе Геракла.

Хозяина окружили, увлекли куда-то вглубь. К Тихону подошла поэтесса, красивая, немолодая, с большими злыми глазами. Она внимательно его рассмотрела в лорнет и сказала, не узнать было, — с насмешкой или с утверждением:

— Разве не понятно? Надо же стать чем-то больше, нежели обыкновенный человек, если иметь претензию быть почти богом.

— Эту претензию позорно иметь, пока массы живут в свинских условиях, — выкрикнул юноша, похоже — ученик рисовальной школы. Я узнал его, это он сидел в загоне, как Будда. Другой, верно товарищ его, добавил:

— Не звучит нам ваш Ницше! Аминь.

— Le courant нашей эпохи — a parcouru tout le cercle de son action, — оглянула всех в лорнет поэтесса. — Что же, для каждого века — свой вдохновитель. Даже Вольтер, родись он во времена апостолов и первохристиан, не нашел бы почвы для своего влияния...

— Он был бы, пожалуй, лишь придворным острословом у когонибудь из патрициев времен упадка. Но что Ницше молодым не звучит — это факт, — удостоверил иронический атташе, как брелок привязанный к поэтессе.

— Так что мы, рожденные под звездой Ницше, — мы решительно конец века? В таком случае идем вскрывать себе вены...

— Необходимо подождать полчаса, пока истоплена будет ванна, вы забыли, что, по слухам, операция безболезненна лишь при этом условии. Я предлагаю взамен этого решительного акта чудесные стихи и музыку о том, как его производили другие и притом весьма древние. Я сейчас попрошу певца и поэта...

— Ах, Афродиз, ах, как он поет! — воскликнула Гортензия. — У него афродизианские глаза, вы знаете, мне это сказал художник, и про себя я зову его — Афродиз. Один классик объяснил, что это в каком-то смысле неприлично, но не все ли равно, если мне слово *поет*?

— Его недавний сомовский портрет ужасен: порочные глаза палой лошади, синева как у трехдневного трупа, — а он душой дитя. Он прозрачен, он мудр...

— Он во всяком случае внес свою лепту в нашу эпоху. Кто его слышал и понял, кто родня его легкой музе, тот знает, что он помог сдвинуть «дух тяжести».

— Это что еще за новый злой дух?

— Напротив того — самый старый: «тяжелой называется у человека земля и жизнь: так хочет дух тяжести», — цитирую по памяти, впрочем, если и совру, из стиля не выпаду. «Кто научится летать, тот сдвинет все пограничные камни и землю вновь окрестит он именем — легкая».

К роялю прошел поэт. Он был в синем армяке тонкого сукна. Огромные темные глаза, смольсвая небольшая бородка, и черные вьющиеся, с зализанными наперед височками волосы. Такой неслышной походкой в мягких сапожках прошел, что поняли — это именно, он, когда вдруг необыкновенно зазвучал рояль.

— Какой-то он нечеловеческий, он из музыки, он весь из стихов, слушайте, слушайте, — шептала Гортензия.

Он пел, аккомпанируя сам себе, пел о любимом древнем городе. И так совершенно были найдены звуки, слова, и несказанное содержание между строк, что интимно воскресало то, что было так страшно давно, — и его город делался каждому родиной.

— Сладко и больно от высокого искусства удавшейся поэзии, — сказал наслаждавшийся, закрыв глаза, какой-то неизвестный мне волосатейший человек; — обратите внимание на его пейзаж. Это верх мастерства дать двумя фразами пейзаж с пропущенной фактически, но настолько присутствующей точностью, чтобы воскресить быт Египта. От его легких намеков вырастает величайшая из древних культур.

Запах вербены при конце пира,
Свежее утро после долгих бдений.

Он пел о легкой мудрости, при обладании которой легкой была любовь, еще легче становилась смерть. Умирать рекомендовалось:

... прочитав рассказ Апулея
в сто первый раз,
в теплой душистой ванне,
не слыша никаких прощаний,
открыть себе жилы:
и чтобы в длинное окно у потолка
пахло левкоем,
светила заря,
и вдалеке была слышна флейта.

Потушили все свечи, он пел и играл в темноте. Ему не давали передохнуть. У всех были свои любимые песни, и он каждому пел. Это было великолепное отпевание повторившегося заново, в узком избранном кругу уже некогда бывшего «конца века».

Наконец, певца и поэта заменил хозяин. Он сказал свои холодные и умственные стихи, но в его передаче они зажили пленительной, многообещающей жизнью. И вскрыт был музыкой его голоса второй и третий и, казалось, еще какой-то бездонный их символический смысл.

Безмолвие было, когда он кончил. Шатаясь встал высоченный какой-то, валкий, нетвердый на ногах, беспозвоночный человек. Шепелявя, он выкрикнул:

— Литургические стихи! Начало — проскомидия, готовность агнца к закланию, далее само заклание. И результат — тишина для себя — но оцт, гореч оцта от мира. Ибо сказано — во зле мир лежит.

— Как велики дары искусства, — простонала подруга Гортензии

или сама она, — в полумраке трудно было разобрать, кто и где говорит.

— Мне нравится, что я не вижу их лиц, — сказал опять очутившийся рядом Тихон.

— Так вы не ушли?

— Нет, уж я хочу досмотреть или точнее — дослушать.

Голоса неизвестных говорили несколько театрально, и создавалось впечатление репетиции странной пьесы при потухшем электричестве.

— Легкость, бесплотность, присутствие тела без рабства ему, сквозистость, овладенье собою в самом высшем творческом аспекте... — вот что дает искусство.

— Ну, как после эфира.

— Не нюхаю...

— И напрасно. Аскеты были неправы. От зверя во плоти человек может освободиться совсем не воздержанием, не отказом, а напротив того — расширенным до бесконечности кругом своих возможностей.

— Однако Оскар Уайльд расширил... и пропал.

— Мопассан расширил... припомните его рассказ о «гареме из цветов», — расширил и сошел с ума. Границы-то, выходит, есть!

— Они не посмели итти до конца, потому что их цель была наслаждение, не утверждение мудрой свободы. Я говорю вам — *мудрой*...

— Наслаждение — малая цель. Малая цель не опора. С ней всегда — крушение.

— «Сладко мне крушение в этом мире...» — так пел Леопарди.

Кругом сыпались цитаты, замечательные изречения, обладавшие даром, как драгоценные камни, сосредоточивать в себе цвет — излучать аромат целой эпохи. И дурманила чувства общая атмосфера, где «эстетика пронзалась тончайшей эротикой».

Отдернули тяжкие занавеси. Предутреннее, еще холодное небо легко держало мелкие немерцавшие звезды. Свежесть зашумевшей листвы в большом парке обнаружила встречающий солнце предрассветный ветерок.

— Гимн солнцу! Гимн! — раздались голоса.

Часть гостей кинулась к роялю, а другие прямо в окно вылезли на крышу.

Здесь пахло сильнее деревьями и дождевой водой, оставшейся от моросившего ночью дождя. И запахло еще масляной краской. Крышу свеже покрасили, и на скрепах железных листов положены были мостки.

Золотистой мглой наполнился воздух от первых испарений под лучами вдруг взошедшего солнца.

Из комнат в окно доносились отрывки ликующей музыки:

> ...божественный Ра-Гелиос
>
> . . . .
>
> тебе ржут священные кони,
> тебе поют гимны в Гелиополе.

Но в комнаты уже нельзя было вернуться. После свежести и невинности утра их претенциозность была неприятна и пыльны ковры. Показалось: магазин небогатого антиквара.

Один только Геракл с малюткой Дионисом на руках и при солнечном свете, как был, так и остался совершенной работой мастера.

У статуи стоял хозяин и, золотея головой и бородкой, протягивал прощаясь, белую ровную руку.

— А все-таки это конец, — сказал ему юноша — тот самый, что кричал: — Ницше молодым не звучит, — символистов уже больше не будет. *Умер* ваш символизм.

На это хозяин, излучая тончайшую из своих улыбок, отечески одаряя словами, ответил:

— Символизм — не творческое действие только, но и творческое *взаимодействие*. Вам, молодым, лучше знать, умер ли *для вас* символизм. Мы же *умершие*, мы свидетельствуем, шепча на ухо пирующим на наших поминках, что *смерти нет*.

По тем же бесконечным лестницам спустились вниз, поражая прислуг, торопившихся на рынок, пробуждая подозрительность швейцаров и дворников.

На улице мы с Тихоном соблазнились войти в парк, совершенно пустынный в столь ранний час. Земля пахла свежестью и грибами, как в лесу, левкои и розы стояли на крепких твердых стеблях и благоухали под солнцем иной, не ночной расслабляющей пряностью.

Я сказал Тихону, указывая на дворец с высоким куполом и колонками:

— Вот таким сохранился он от светлейшего князя. Ну, и праздники здесь давал! Державин писал для хоров — «от крыл орлов парящих», воск закупали на сотню тысяч рублей, убранство парка из тысячи одной ночи. Помню, читал я — у Потемкина шляпа была так тяжела от бриллиантов, что он ее дал нести за собой адъютанту. Фонтаны били лавандовой душистой водой, ручьи с каскадами, замечательный фейерверк. Сколько одних быков, кур и гусей надо было убить, сколько бочек вина, чтобы насытить эти утробы, затянутые в алый бархат кафтанов? Избранников было 3000 человек. Народ глазел за решеткой.

— Вы это к чему же?

— В похвалу прогрессу, для сопоставления: сейчас избранников там, откуда мы пришли, правда, много меньше, но они пьяны созвучьями, сыты метафорой и реминисценцией древних культур.

— В этом доме делалось очень нужное дело...

Тихон был мне непонятно взволнован.

— Да, в этом доме повышался уровень эстетической культуры. Но сейчас, слышали, эдакий молодец прокричал — *это нам не звучит*! Сейчас идет новое. Ну-с, а вот это новое в свою очередь и в свое время разве не осядет историей? Непременно осядет. И новый юнец опять прокричит свое бессмертно-старое: *это нам не звучит*. И новый Ницше опять *разоблачит* на весь мир пытку *«вечного возвращения»*, и сами черти зевнут от тоски.

ЗА БЛОШЛИВЫМ ХВОСТОМ

Как-то под вечер, шурша юбками и газетой, тетушка внеслась в мою комнату, подобная урагану.

— Это имени не имеет... — и сует мне газету с отчеркнутым гневно абзацем.

ИЗЫСКАННЫЕ ЛЮДОЕДЫ

На-днях наши сверхчеловеки учинили мистерию, которая мало чем уступит недавнему подвигу так называемых «кошкодавов». Напомним читателю, что под этим объединением подвизался цвет столичной молодежи, десятками расстреливая в закрытом помещении вполне смирных домашних котов—ради опыта перехода «по ту сторону добра и зла». В данном случае не юноши—маститые жрецы слова собрались, по примеру модного романа Гюисманса, на «черную мессу». Гвоздь сей мистерии состоял в испитии некоей круговой чаши. По слухам, чаша содержала разведенную в воде кровь двух влюбленных. Во всяком случае знаменателен для нашего времени факт воскрешения суеверий средневековья.

— Очередное репортерское вранье, — возмутился я, — и как может вас подобное волновать?

— Но ведь это как раз та мистерия, на какой была наша Аничка!— воскликнула тетушка. — Мне по секрету давно рассказала Аглая. Они все собирались сделать по-древнему... Я сегодня два раза посылала кухаркину девочку к Аглае Бреннер, — вообрази, она увезла Аничку за город. Я опасаюсь ее влияния. Уж лучше бы Ане скорей выйти замуж — тетушка понизила голос — выйти замуж попросту,

а не по древне-греческому. Эта Аглая все твердила про переход любви от старой обыкновенной к какому-то «нездешнему цветку», и, вообрази, меня сейчас это пугает.

— Достукались! — разозлился я, — да вам бы эту Аглаю на выстрел к Ане не допускать...

— Ах, не я, милый друг, — всплеснула тетушка ручками, — это ведь ты познакомил ее с Аглаей. Я брала Ане билеты всего лишь на Островского, где обыкновенные купцы, без всяких мистерий, а вот на лекцию Мэтра кто взял билет?

Пришлось мне прикусить язык. Действительно, с Аглаей Аничка познакомилась на той злополучной лекции и сразу договорилась итти с ней в Эрмитаж, что мне показалось вполне безвредным. Очевидно, отношения их окончательно окрепли, и вот, не угодно ль, разводи беду руками.

— Нет, какой может еще выйти позор, — шептала обескураженная тетушка, — если они и фамилии участников пропечатают, ведь у Анички фамилия моя.

Тетушка выплыла в расстроенных чувствах, я же почувствовал потребность пройти пешком много верст и пошел в переднюю одеваться. Вместо прогулки мне пришлось на резкий звонок открыть дверь. Передо мной стоял Тихон.

Я молча протянул ему газету, он прочел, хмуря брови.

— Разумеется, клевета. Если у них там могло быть разыграно что-либо подобное, то уж наверное лишь в порядке показательной какой-нибудь лекции о культах. Что французу Гюсмансу ах как ужасно, то нам глуповато и смешно. Ну, для спокойствия души — хотите проверим. Обойдем двух главных участников, я с ними знаком, — оба умны, как бесы, и охотники посплетничать. Уж что-нибудь от них да вытянем.

Мне хотелось за малую ниточку ухватить то, чему свидетелем была Аня, может и о ней самой что-либо выведать, и я охотно пошел с Тихоном.

Двинулись от цирка по Фонтанке. На площади весенние ранние лужи были еще так глубоки, что отражения львов в них баюкались как в люльке и были гораздо естественней львов на огромном плакате, окружавших укротителя с идиотским лицом.

Симеоновский мост и здания вглубь по улице за старинной церковью, своими надставными этажами, башнями, окнами, пламеневшими в последнем закате, походили на маленький немецкий городок. Направо, к Невскому, в красном просвете, сквозь дымчатую мглу черные лошади Аничкова моста рвались спрыгнуть с гранитов на землю, и неимоверными казались усилия всадников их удержать под уздцы.

— Какая красота, — сказал я Тихону, невольно останавливаясь и указывая на волшебное освещение, — ведь вот только глаза пошире открыть... И к чему тянуться на цыпочки, на аршин от земли, которая сама-то чудесней всего. Я вот даже простые задворки люблю. А лес, жуки, облака?

— Очень мило и весьма знакомо, — ухмыльнулся Тихон, — но не надолго хватает. Даже Метерлинк — этот дамский упроститель, даже он своей получасовой одноактной пьеской может сразить трагизмом будней вашу философию со всеми облаками и жуками. Каждую минуту человека подстерегает невеселый сюрприз. И едва его крупно заденет эмпирическая бессмыслица жизни — ко всем чертям вульгарный оптимизм.

— А я верю в жизнь... я уверен, что в будущем половина упомянутого вами трагизма, если не весь целиком, благодаря науке, прогрессу и прочему будет устранен.

— Никогда, — почти торжественно сказал Тихон, — такие в жизни размножены дефектики, что от них ни общественное благоустройство, ни познание законов природы, ни социальное уравнение — ничто не спасет. Благо, лирический момент выдался, возьмем к примеру хотя бы любовь. Даже для людей вашего типа, которым возможно космическое слияние с природой, даже для них неразделенную любовь никаким пейзажем не забьешь. А почему?

— Да потому, что любовь по своей сущности, вообще, трагична. Мечта, которую носит в себе юноша, никогда не осуществляется, и если он сам не превратится с годами в упрощенную свинью, он не перестанет переживать трагический конфликт, так сказать, монистического идеала любви и ее эмпирического плюрализма — словом, повторять бессмертный опыт дон-Жуана. Две тоскующие разобщенные половинки прекрасного мифа Платона никогда не найдут соединения. В случаях редких, почти чудесных, когда встреча эта бывает,— уже через миг, один как-нибудь гибнет, и, вообще, чорт подставляет свое копыто. Как раз вчера я прочел и запомнил: «социальное развитие может только устранить внешние препятствия любви, создать ей более свободные условия, но едва ли от этого не станет еще сильней сознание трагизма внутреннего».

— Простите мой вопрос... — и я выговорил легко и просто, нежданно для себя самого, — Аня ведь вам не жена?

— Какое обличающее вышло у вас это «ведь»... — улыбнулся Тихон, — успокойтесь, Аня мне совершенно не жена ни в смысле матери семейства, ни в смысле любовницы. Я и впредь совсем этого не хочу: Аня мне — вечная невеста.

А жены у меня разнообразные: бывает Белла наездница: она, знаете, налетит, оберет и до следующего накопления. Постоянная

жена — дебелая Эмма, она мне носки штопает. Но, в сущности, никто из них мне не нужен. — И помолчав, очень тихо добавил: — кроме Ани.

— Но почему в таком случае, — так же тихо спросил и я, — почему все-таки вам не жениться?

— Почему? Да потому, что соединение в одном человеке честности и бесстрашия и есть древняя эдипова катастрофа. Чтобы устроиться, в этом мире благополучно, надо вообще себе самому наврать, а я представьте, дошел до точки — не хочу врать, не хочу и устраиваться.

И вдруг, недовольный, что слишком интимно сказал, Тихон опять впал в шутливый лиризм.

— А знаете, как я вас мысленно именую — папахен, хотя вы, вероятно, всего несколькими годами меня старше. Вы немало порадовали меня тогда на лекции вашей нотацией и осуждающими взглядами на мой галстучек с булавкой и главное тем, что сочли меня заправским оперным *соперником*. Ну, право, вы мне как свежий душ.

— Я скоро понял, что вы все это нарочно, но только зачем? — спросил я.

— Чтобы лучше *досмотреть*. В понятном людям мундире человек, которому уже не лестно себя показать, свободней всего.

И Тихон продекламировал:

— «... тайна свершения рока в запечатленных сердцах, бремя груди, тяжелую силу титаны вылили в ярой борьбе: внуки выносят в себе». Но, увы, внуки устали, внуки ничему ровно не верят, внуки говорят, говорят...

— А мои простецы, — начал было я, но Тихон меня прервал. По лицу его прошло волнение. Он развернул бумажник, вынул четвертной билет.

— Вот я отложил из первого, свежеполученного гонорара, — подал он мне. — Убедительная просьба: купите-ка простецам большой самовар, пусть дуют во спасенье души и за мой ананас не серчают. Уж очень к случаю подошло — соблазнился. В конце-то концов пострадавший — один я: нес на дессерт знакомой певичке, а тут они раззадорили. Однако сознайтесь, что с символической этой бомбой простецы ваши, как говорится, засыпались. Если они находят, что им под свой кров действительно *можно* принять бомбу, предназначенную для убийства — уж тут их детской вере капут. Тут им надо б на совсем иной путь вступать. И знаете, мне даже было печально, что мохнатый тот дядя согласился. Ухни он на коленки да требуй, чтобы *горы сдвинулись*, чудо стряслось, а убийства бы не свершали, он бы свой стиль сохранил, — и мне с ананасом хоть провалиться...

Мы подошли к редакции распространенной, весьма непочтенной газеты. Я подумал: «А какого чорта меня сюда понесет? Может, я лучше тут в скверике подожду?»

Но Тихон стал убеждать:

— Много потеряете; ведь человек, подобный философу, один раз бывает в столетие. Вот посудите, какой фразочкой он намедни обмолвился: «Мне не надо *истины*, я хочу *покоя*». Стойте, некто уж и стишок по этому поводу накатал, не помню кто, но преудачные есть строчки. Так в память и засели. Прослушайте-ка:

Это он сидел пред нетопленным камином,
Это он сказал, когда сердце пустынно...
Это всем нам ...немного родное,
Но одно только сердце червивое, больное
Высказать посмело с наглою тоской:
«Мне не надо *истины*, я хочу *покоя*».

Мы вошли в редакцию.

Философ стоял против света, разглядеть его вдруг было трудно. Тихон меня ему представил, он молча ткнул мягкую бескостную руку, в роде как старую калошу. Сесть не пригласил, стоял сам, перебирая мелко ногами, топочась на месте у огромного кожаного дивана. Повернулся к Тихону, свет попал ему прямо в лицо. Смотрел он вбок, совсем как изображен на своем известном, очень похожем портрете. У него были темные печальные, во внезапном огляде очень зоркие глаза. Умнейший лоб, рыжинка волос, усмешечка. В лице непрестанная игра — и гаерское лукавство и печаль. Странно отметилось, когда начал он свою невероятную речь: лицо его говорило совсем не то, что язык. В этом несоответствии был завораживающий интерес, и хотелось найти разгадку. Фигуренка была у него тщедушная, какой-то грим старинного подьячего. Может быть и не поношенный был на нем костюм, зарабатывал ведь он хорошо — с чего бы ему прибедняться, но, по впечатлению, костюм был обвисший и брючки внизу бахромеющие. Долго он топтался, выспрашивая Тихона про провинцию. Усмешечка играла под редкими усами, а из маленьких глаз несло нечеловечьей, последней, песьей печалью. Простором и умом белел большой лоб. Жест был у него неприятный, поспешный, вдруг перешедший в слабое многократное подталкивание. Это он приглашал наконец Тихона сесть. Притолкнув его к дивану, шепетнул:

— А вам как, ничего на этом диванчике будет сидеть? Тут ведь обыкновенно сам... сам Меньшиков сиживает.

И буравчиками засверкали, залюбопытили глазки: вобрать им

самое свежее, первое, нечаянное. Этакий вкус обнаружил к мелочному насилию.

Тихон поморщился. Он заметил и тотчас ему коленку легонько рукой:

— Ну, ну, я ведь так... пошутил. Думал, что вы погрубей.

Они сели рядом на диван. Философ, садясь, подмахнул под себя левую ногу, кка резиновую, для прочности поддал ей проворной ладошкой и засплетничал. Несомненно было, что про меня он забыл, или решил, что я пришел по своему делу к кому-то другому. Он обращался, иллюстрируя своим мелким жестом, к одному только Тихону, который воссел на диван, как идол Так и сидел камнем, слушая, не моргнув, совершенно неподобные вещи. Говорил же, их философ нарочито, как самое простецкое, каждодневное.

— ...Самое там, милый, интересное было, — те двое, с женами. Как на семейный пирог пришли. А зачем? Ну, чтобы через жен — шевалье оба друг с другом. Затейники. И ведь не пакостно как-нибудь измыслили, не как актеришки практикуют, не по «пиру» Платона, а вполне бесплотно и умозрительно. По-новому... по самому по Францу Баадеру.

Про четырехчленный андрогин слыхивали? Окончательная полнота пола. Нет? В провинцию еще не проникало. Разработанный наново немцем — Аристофанов *круглый человек*. Немец, общеизвестно, он сыт одной теорией, ну, а нам, батенька — нам все практически подавай.

— Вы говорите неправдоподобное, — уронил невозмутимо Тихон, — всем известно, что в ы м и с т и ф и к а т о р.

— И очень правдоподобно, а по-ихнему совершенно, к тому же, обоснованно. Вы просто не в курсе. Это последняя столичная затея. Однополая-то отставлена, — конфиденциально шепнул он, прикрыв бороденку красной трепетной рукой, — однополая объявлена «карикатурящей священную идею *андрогина*». А в провинции что? ужели еще однополая соблазняет? Нет, конечно. В провинции размножаются попросту. В провинции пока — попросту. Ну, об этом вы мне отдельно... ко мне на дом придете.

— Неправдоподобно... — твердил Тихон.

Но тот, уже не реагируя, торопился, суетился, подшептывал свое:

— Без посредников ни в одном практическом осуществлении не обойтись; вот и придумали — бочком, через своих законнейших...

— Как же все-таки технически?

— Вот видите, видите, вы уже заинтересовались! Технически осуществляется тоже вполне философски, говорю ж, по Баадеру. Вот извольте: два друга — икс, игрек. У каждого имеется обретенная

им, его дополняющая, законно-обвенчанная. Вместе они хотя двухчленник, но *одно очко*. Надлежит слить воедино *два* таких самодовлеющих очка, сиречь: четырехчленник привести к единице. Получается полноценный продукт райского происхождения, безущербная единица. Окончательно, практически дело производится так: игреку, выражаясь библейски, надо «войти к жене» икса и обратно — иксу к игрековой. Словом, как водится в котильоне — месье, шанже во дам! Незамедлительно после сего пассажа надлежит «войти в сад услад» уже с законной своей половиной, пока она полна, так сказать, фокусом личности шевалье-друга. Путем подобной арифметики воссоздается рассеченный на-двое круглый мифологический человек. Эврика.

— А где ж такое происходило? Ведь не у всех же на глазах, чтобы вы могли быть свидетелем, — пришел Тихон в раздражение, выйдя из своей идольской недвижности. Я же подумал со страхом об Аничке.

Философ побуравил глазами, выждал минуточку и, легонько хихикнув, сказал:

— То-то что не было вовсе. Ширмочки не нашлось. Они вишь потребовали ширмочку, «мистерия»-де у нас вещь новая. . Да, да, так вот и не посмели без ширмочки.

— А может быть вы все это сами придумали, — обронил Тихон.

— А быть может и сам придумал... — отозвался рассеянно философ, думая о совершенно другом, и протянул руку за книжкой.

— Приходите ко мне, — крикнул он вдогонку Тихону, подмигнув глазком, — провинциалов-то я особенно люблю...

Когда вышли, Тихон сказал:

— Это он мстит своим приятелям за абстрактность. Они его недавно помоями облили за чрезмерное пристрастие к земле, за богохульное заявление: «я хочу на тот свет прийти с носовым платком. Ничуточки не меньше». Однако, чтобы составить хоть какое-нибудь представление о том, что у них было, необходимо зайти нам еще к одному. Опровергая выдумку этого, он нам расскажет выдумку свою, — общий тон происшедшего священнодействия, как никак, будет нами ухвачен. Времени у нас еще часа два...

Тихон остановился, опершись на гранит набережной. Уже зажглись газовые фонари, и, сопровождая ослепительный мертвый их свет, далеко ввысь, в туман, охвативший столицу, стрельнули треугольником черные тени. Вода потекла жирная, как чернила.

— Еще недавно, — проговорил Тихон, — совсем недавно я всему этому верил... — он далеко вперед выгнулся над водой, где не играло уже ничье отражение, среди груды камней одни бездомные собаки глодали кости, рыча друг на друга.

— Да, верил, когда они писали: символы наши — *не имена*, они — наше молчание. И даже те из нас, которые произносят имена, похожи на Колумба и его спутников, называющих Индией материк, что вот-вот выплывет из-за далекого горизонта. А сейчас... наилучшие стали догматиками, а «дальний горизонт» из космических пространств взят в картинную плоскость и в качестве иллюстрации приклеен в такой-то книге стихов. Слушайте, я знаю твердо, наш сверхиндивидуализм — не брехня, он — *задача* нашего времени, и задача эта будет оправдана, если мы перебросим мост к началу какого-то нового, мне еще неизвестного объединения людей... И знаю еще: кто заявил, что человек не может, не смеет, не должен выносить рабство ни у стихийных сил природы, ни у какого бы то ни было общества, — тот должен оправдать это *собою самим*...

— Вы что-то затеяли... — прервал я, с беспокойством глядя на застывшую скифскую маску Тихона, — вам надо полечиться. Вы прежде всего больны.

— Здоров как бык... — оборвал Тихон и, круто повернувшись, пошел впереди меня.

— У меня времени очень мало, идем ко второму свидетелю; зовется он чародей, — кинул Тихон на ходу. — Умнейший бес, сказочник, приручатель вещей, весь в штучках, в подковырках, но к людям холоден и недобр. Да и какого чорта быть к дуракам добрым! — прервал он себя со злобой. — Дураки лениво живут...

Про чародея слыхал я немало от близких знакомых, от одного удивительного себялюбца, которого чародей однако сумел поработить себе на потребу. Кроме того, ходит по городу слух, что правит он людьми, изобретает собственную геральдику, выдает грамоты из «зверовой палаты», то повышает в званиях, то лишает сана. И курьезно, ведь добился того, что люди гордились его грамотой с непристойной печатью и соревновались в «рабстве» его дому. Ставили ему самовар, кололи дрова, таскали тяжести и мало ли что. Этот человек одной своей персоной уничтожал иллюзию о последнем человеческом уравнении, доказывая, что и нищими, голодными руками умный веки-вечные веревку совьет из неумного или мягкотелого.

Чародей открыл двери сам. Был в фартуке, в драном вязаном платке, крест-накрест повязанном, с хвостом, провисавшим ниже спины. То ли был это китаец, забредший в русскую сказку, то ли умная иззябшая обезьянка.

Но в истинно сказочный мир ввел нас. Висели в большой комнате на потолке, на стенах всякие караморы, ехи, калечины. В углах были темные, древние, кем-то обмоленные лики.

Сейчас без лампы, при одних мерцавших лампадах, освещавших

и лики святых, и морды чертяк, и зверьков, бросавших на белые стены свои чудаковатые тени, комната эта была, как заклятая церковь Хомы Брута, после третьих петухов, когда промеж образов застряла в ней окаменевшая нечисть, так и не успевшая улететь.

Чародей умел подавать себя сам, как угодно. Пускать мороки, наткав населенности, чудной силы, чтобы завлекать, ловить свой улов. Так на дне морском, прикрепясь к глупому раку, питается хитроумная актиния, только пошевеливая своей изумительной бахромой.

— А знаете, — сказал, осмотрясь, Тихон, — я не удивлюсь, если увижу, что вы можете колдовать. Угревшись хорошенько у печки, протянете невзначай, вот этак, обе ладошки да и прикажете, не спеша, хоть бы тому фолиантику с книжной полки: — а ну ка, любезный, скакни! И кто ж подсмотрел вас наедине? Может и выжмется какой фолиантик в порыжелой коже и прыг на пол вперевалку, на своем корешке, как на двух сросшихся ножках, приковыляет к хозяину.

Чародей не ответил, молча выпустил глаза сквозь круглые стекла огромных очков и стал нас раззадоривать выпить горячего чаю.

— Сам заварю крутым кипятком. Самовар ключом кипит.

Пошел на кухню, помешал что-то. Вышел такой же вихрастый, хвостатый, хитрущий, — а чаем не напоил.

Вспомнил я, что знакомые, смеясь, уверяли, что никогда обещанного он не дает. Но так у него будет *сказано*, что каждому покажется — он получил.

— Чародей...

Он показал свои редкости, древние любимые иконы. Перечислял полным титулом лики богородиц своей крепкой, зернистой, превосходной московской речью. С такой истовостью, с таким нежным сыновним вниманием, что с невольным уважением подумалось: «ну, *это* кровное, это — запытать, не отдаст. За это, как старообрядец, огонек примет».

Гляжу, — и у Тихона каменное лицо просветлилось.

И вдруг он, чародей-то, набив гильзы рыжим, хорошо просушенным табаком, не порывисто, не так как рассеянный, протянул руку и закурил от богородичной лампады.

Он поймал тяжелый взгляд Тихона и, поняв его смысл, не спеша ответил:

— А за спичкой-то еще иди.

Помолчал. Взъерошил свои вихри и сказал:

— А ну, рассказывайте, с чем пришли.

С любопытством выслушал про философа, про «четырехчленный», переведенный на практику.

— Это он все сам измыслил. Придумал. Дело в том, что он на этой

мистерии всех больше осрамился. По-бабьему своему любопытству сунулся и вмиг испугался. А чего было пугаться? Курили смирнский ладан и говорили. Говорили и курили... а он ведь подумал, что пойдет дальше во всей плотской конкретности. Ему, главное, *подобного* давно хочется, да колется. Ну, все ничего, пока не дошло по ихней программе до *тайностей.* Они вроде как иллюстрацию к самой древней Греции придумали. Пустое дело. Однако как возгласит одна басом, мэнада, што ли:

воздадимте друг другу поцелуи любви,

философ как трепыхнется: «девоньки, мамоньки, если целовать меня, так только по сие...» И своими красными пальцами (они поросли у него клокатой рыжей шерстью) ведь на собственном теле показал границу.

«Ниже, кричит, никак нельзя, ниже я катенькин!» Да успокойся ты, говорю, на тебя никто и выше-то не посягнет. Тут он обиделся и вдруг в ярость: «Я, кричит, замечательный семьянин, я в бане парюсь, я под иконой, это когда икону подымают — я как баба могу пролезть, по смирению души моей. И на кой, спрашивается, на кой чорт, при моем-то, при *моем* воображении мне все ваши мелкие массонские пакости...» Зашелся, захлебнулся, хватил шапку и сбежал. Ну, будет теперь про всех выдумывать.

— Та-ак... — не улыбаясь, протянул Тихон и совершенно задумался. Сидел идолом.

А чародей так разошелся, что вышил цветной своей речью, словно бисером, не то, что картинку тогдашних нравов, а верней сказать, к своей же книге диковинных *снов — новый сон.*

— ...самое интересное — попик там был. Попика я прихватил посмотреть, как он там... при всем древнегреческом. В дороге приготовил его, распалил, любопытный он. А вот характером оказался целомудренный. Как возгласила эта... главная самая мэнада, да басом: «*эвое*» и ногой вперед двинула, — душа у попика в пятки.

«Да и мне самому стало страшно: потому — туника у нее лиловая, древнегреческая, по музейной выкройке шили, а как шагнула крупным шагом и «эвое» — в распашке-то обнаружились красные фланелевые панталоны. И длинные, так в старину только носили. Из материнского верно сундука.

«Что же, ведь не Греция у нас в самом деле. Хоть весна по календарю, а ладожский лед еще не прошел. У нас ведь всегда в это время холодно, а топить уж не топят. В квартире дрожи.

«Однако, все надлежит делать по правилу. Уж коли ты *перв*ся *мэнада*, коли ты «эвое», так зубами стучи, а стиль выполни. Но вот, что за древнего жреца был, тот так в свою роль вошел, что панта-

лонами пренебрег, и едва мэнада «эвое» — он ей по древне-греческому в ответ.

«А попик мой все это возьми да прими за особый *секретный* сигнал, — да как порскнет прямехонько в уборную... и ведь заперся. До-смерти испугался, что после древнего сигнала радение начнется, и, как у них в семинарии проходили, обязательный свальный грех по-гречески будут делать. А он, попик-то, говорю, хоть любопытен, очень целомудренный. Из провинции. Того же ему, конечно, не понять — из каких средств у нас возможно радение? И в подобном этаже... Да ведь прыгать при радении надобно. А у такого-то, например, хоть он и думает, что он уже потусторонний — у него *мозоли* болят. У другого, прямо сказать, *геморрой*. Я также прыгать не могу — у меня *живот*. А такие-то, муж с женой — они очень полные, куда им прыгать».

— Ну, а еще что же было?

— А еще говорили. На всех языках. И по-латыни... а по-русски уже без конца говорили. Кто стихами, кто прозой. Потом хоровод повели. А попик невинный до такой ведь степени убоялся, как засел в бест, никому не попасть. Всю ночь просидел. Под утро уж некоторым не в моготу — кое-как выстукали его. Отворил. Ликом светел, перекрестился и говорит: «Хоть в великой тесноте я пребыл, однако, невинность свою соблюл полностью».

«А рассвет в окна глянул такой жидкий — вода подболтанная молоком. Ну, уж тут сам Мэтр предложил, конечно, всем пропеть солнцу *пэан*. Кто во что — спели.

«А какой, по правде сказать, *пэан*, когда и солнца толком не было. Сплошной петербургский туман».

— Разрешите спросить, — вызвался я, потому что Тихон, в себя погруженный, едва ли что слышал, — на каком же основании в газету гнусная статейка проскочила: «*Изысканные людоеды*»? Может быть тому отдаленный повод все-таки был?

— Повод не повод, а сущий пустяк. Один, вроде жреца, в простыню облачился. Для ради иллюстрации к древним. Ну, в какой-то полоскательнице, тоже археологической, из раскопок, капельки ароматов вином развели. В круговую пили — ничего, вкус обыкновенный. Удельное вино. А шило-то, которым жрец колоть кого-то хотел, он ведь публично *дезинфецировал*. Однако колоть — не колол. Нет, знаете, не вышло древней-то Греции.

Тихон со злостью сказал.

— А, может быть, и вы, как тот *философ*, все это на смех придумали?

Чародей взъерошился, выпустил поверх очков очень умные и вдруг добрые глаза.

— А вы это что? На чужой счет прожить собираетесь? Пустяки

вот обобщаете, а себя самого боитесь? Да ведь кроме пустяков, за каждым из нас *своя тема*.

Он улыбнулся, одернул сзади платок, шельмовски прошептал:

— Будет вам у чорта в хвосте блох-то искать! Без своей темы ни жить ни помереть...

Ничего больше не рассказал чародей. Стал себе живот растирать и позевывать. Попрощались мы, ушли.

— Ну, теперь уж мне немного осталось, — сказал Тихон на улице, взглянув на часы. — Полюбуемся на прощанье еще разок религиозно-философским словесным парадом и я на вокзал. Полагать надо, придется мне экстренно...

— Но вы совершенно больны, — снова заметил я, на что он опять с нетерпением, почти обидой сказал:

— Да не будем же об этом говорить.

— О чем сегодня диспут? — перевел я разговор.

— А кто ж его знает, да и неважно о чем, знаю только, что опять в польском зале... Поверьте, какова бы ни была тема, все, кто способен вещать, все съедут на своего конька. У каждого есть ведь конек.

Когда мы вошли, польский зал был туго набит. С трудом Тихон пробрался ко второй от выхода белой колонне и стал пристально оглядывать лица. Я понял, что с кем-то у него условлено стать именно под эту колонну. Но пока никто к нему не подходил, и он, как и я, стал внимательно слушать очень красивого, кудрявого человека.

— Этот человек, — рыцарь в толпе штатских, — шепнул мне Тихон, — я его воображаю всегда в блестящих доспехах как на турнире.

Рыцарь вышел вперед из-за длинного, зеленым сукном покрытого стола и заговорил сразу гневно, задетый каким-то предыдущим оратором, которого мы не застали. Он был грозен очами, весь яркий, как пурпур с золотом, поражал нерусской своей красотой и в то же время был страшен как Синяя Борода. Он страдал нервным тиком — лицо его белое, обрамленное кудрями, внезапно искажалось, руки хватали воздух, нога, скользнув по паркету, грозила обрушить все тело. Но он тут же с удивительной грацией и ловкостью, как-то на лету, подхватывал сам себя. Ни малейшего впечатления раненого самолюбия, ущербности сознания из-за этого тяжкого недуга. Как бы претерпевая истязания, которые чья-то злая воля публично производила над его телесным футляром, он не допускал ее коснуться его внутреннего человека. И шла изумляющая глаз борьба.

— Он восхищает, — сказал Тихон, — он живая иллюстрация к рыцарю из сказки, побеждающему злое колдовство.

Когда он остроумием уничтожал противника и, смущая чопорность обычных ораторов, хохотал, сверкая зубами и смольевой недлинной французской бородкой, он был как веселый Синяя Борода.

Он гневался на «снижение личности человека», вероятно произведенное, по его мнению, предыдущим оратором. Он кричал то, что уже напечатал в одной своей книге. Но в живой его речи и слова и мысли были значительней.

— Нет, — вскричал он, — человек не обрывок вселенной, он некий великий микрокосм, в котором отражается и пребывает весь реальный мир и все великие исторические эпохи. И потому человек в *самом себе* может познавать историю. Он вскроет пласты древнего эллинского мира, он откроет заново Грецию. Он может прорваться внутрь, в глубь времен и одновременно в глубь себя. Это и значит — глубина времен в глубине *себя*. История нам дана не извне, а изнутри. Будущее не реальней прошлого. То, что было тысячу лет тому назад, и то, что *будет* через тысячу лет, — или одинаково призрачно или одинаково реально, а потому безумно...

Судорога схватила его, он весь затрепетал. Белыми тонкими пальцами как бы обхватывая шею своего врага, незримого гада, он на самом деле поймал собственную руку, качнулся упасть, но как конькобежец ловко извернулся, подхватился и уже с матово спокойным лицом еще раз настойчиво произнес:

— Безумно думать и говорить, что *бытие* грядет во времени, а до сих пор его еще нет и не было.

— Огромная разница, — встал из первых рядов широкоплечий, с лысой головой; лица его видно не было, должно быть это и был предыдущий оратор. — Реальность прошедшую я могу себе только представить посредством воображения, но ровно ничего изменить в ней я не властен. А в сегодняшнем и в будущем — я активный созидатель.

Только от меня и моих современников зависит, чтобы эта действительность стала лучшей. Это *мы* изменим ее. Это *наш* долг, *наше* дело. А человек...

— Человек призван расколдовать мир, — прервал рыцарь, встряхнув кудрями, — но вопрос: *какой* человек, — подчеркнул он — и *какими* средствами? Человек *высшего* духовного порядка и силой соединяющей *любви*, — ответил он сам себе. — А ваша энергия, — кинулся он в новый бой, — ваша энергия направлена только вовне! На поддержание прогресса, закрепляющего закон тления, а не в глубь вечности, не на победу над смертью, не на завоевание всеобщей, полной, вечной жизни.

— Вот этот верит в то, что говорит, — сказал Тихон, — но вера-то его непередаваема.

— Вы... вы живете безумной мечтой победить смерть рождением, победить ужас прошлого и настоящего — счастьем будущего, — бушевал рыцарь, бросаясь далеко вперед от стола с зеленым сукном, — но объявляю, что это безумный самогипноз! Не меньший всех тех, над которыми вы столь примитивно издеваетесь. Ведь ни один, ни один из боровшихся и страдавших за рай будущего, ни один не войдет в него, ведь нет с этим будущим связи ни у одного живого человека. Если вы мыслите честно — вам необходимо признать, что в этой области у вас отсутствие логики. Или, что не до конца вы позивитивисты. Или... — он стал веселым Синим Бородой, — или вам остается выход третий — *не мыслить* вовсе.

— Только изменив условия жизни, изменим мы человека, — упорствовал голос из рядов, — наш, как вы назвали, *гипноз*, во всяком случае осмысленней вашего гипноза. Он доказуем. А вот потрудитесь-к объяснить своими словами да поконкретней, что за содержание у вашего понятия — *глубь вечности*.

Тихон был прав: не только докладчик и оппоненты, всякий, кто тут выступал с речью, подобной сильней или слабей бьющему фонтану, — говорил только о своем, совершенно не сообразуясь с объявленной в печати темой. Вдруг Тихон обратил мое внимание на молодого человека, который только что вошел и сел сзади нас. Некоторое время мы перестали слушать, что говорилось за зеленым столом и в рядах. Мы стали глядеть на замечательного молодого человека.

— Его прозвали Сапфирный Юноша, — сказал Тихон, — причина прозвища мне неизвестна. Я узнал его по портрету, приложенному к книжке его стихов.

Что до меня, хотя я много слыхал о нем от знакомых, но, признаться, сразу глянув — оторопел. Безумец? Гениальный глухонемой? Невольно пришло это в голову заключить по его движениям, внезапным, по молниеносному огляду, вбирающему все в свою память, по остро выраженному жесту, скосу глаз, дергу головы. Так подтанцовывало, жило, пело, дышало, говорило все его тело, как у человека обыкновенного просто быть не могло.

Кругом люди давились смехом, уже не слушая ораторов, а лишь наблюдая, *как* слушает *он*.

Он же порой оборачивался к смеявшимся, сиял взором, не понимая, что смеются над ним, улыбался сам и сочувственно кивал. Но вдруг понимал. Обижался, вбирал голову в плечи и, казалось, у него из головы стреляли предлинные заячьи уши. Их пугливо прижав, он озирался беспомощно и по-детски.

Лицо это было очень замечательно. Особенность его состояла в непрестанных изменениях. Притом не в смене, не в чередовании

выражений, как на лицах, хотя бы самого живого темперамента — нет, это было больше того. Мысль и чувство в таком совершенстве овладевали материалом этого лица, что для каждого мига как бы заново разрушали и созидали этому лицу новую маску. И весь он был зыблемый, переливчатый, перламутровый, словно состоял из легкого, телесного цвета пламени.

И если б закрепить, остановить выражаемые его лицом миги, то в полчаса времени получилась бы целая лестница восхождений. То заяц с прижатыми ушами, настороженный на притаившихся псов, готовый стрельнуть дугой прямо в дверь и по улице в лес, то, на другом полюсе, минуя все разнообразие градаций, это же лицо виделось осевшее гранитным подбородком, с прямым мраморным носом, с глазами, синевшими мудростью древнего иога.

Засмеялся, крупнея зубами, и стал мальчишкой. Подтанцовывая, чтоб лучше слышать, сворачивал голову, начинавшую слишком рано лысеть обнажаясь от лобных зализов,—таким арабеском, что было страшно, не сломал ли он позвонок. И вновь все разделывалось: твердый нос обвисал мягкими ноздрями, как закрывшийся в полдень цветок табака, и человек, на минуту устав сам от себя, глядел вокруг с таким спокойным уютом, как хозяин барсук из норы.

И внезапно я понял, почему его окрестили — Сапфирный Юноша. При каких-то словах еще одного нового оратора глаза его вдруг вспыхнули, как этот синий глубокий камень, он выстрелил руку вверх, он потребовал слова. И ринулся на кафедру, как очертя голову летят в воду одни боевые пловцы.

Он не отвечал ни на чьи возражения, он понес сразу свое, против всех.

Он пылал как костер, он готов был всем телом, самим собой, лечь преградой тому беспорядочному, безответственному красноречию иных ораторов, праздно возбудивших энергию зала.

Он забил в набат, он крикнул — пожар! Он, как рыцарь ламанчский, выхватил на защиту собрания незримую шпагу.

— Я утверждаю, — вскричал он, — что *символизм* не есть только школа искусства. Он тенденция к новому *мироощущению* преломляющему по-новому искусство. Новые формы искусства — лишь отчетливый знак изменения внутреннего восприятия мира от прореза в нас *новых* органов восприятия.

Сапфирный поднял вверх три пальца сначала правой, потом левой руки и потряс ими как кастаньетами.

— ...Индивидуалисты, вы не хотите нести исторической ответственности за третируемый вами коллектив...

Внезапно, как на вертеле, всем легким телом Сапфирный повер-

нулся к одному, ко второму, к третьему из говоривших и горько воскликнул:

— Вы не взорвете вашей умственной эквилибристикой плохой нашей действительности. Пеплом эстетики упадете вы с ваших высот. Эстетика выродится в бесплодие, в стиль... Стиль скатится к *стилизации*.

И как древний пророк, подняв над собой руку, он мелко и дробно затряс пальцами, как умеют трясти одни итальянцы. И тем и этим выкрикнув свой приговор:

— Вы — игроки!

Громом скатился он с кафедры, кинулся к выходу и исчез.

К Тихону подошел юноша семинарской повадки с длинными, отброшенными назад волосами и положил ему в руку записку, что-то прошептав. Тихон побледнел, незаметно прочел записку и, нагнувшись ко мне, сказал:

— Прощайте. Мне необходимо уехать немедленно, я на поезд еще поспею. Вы со мной не выходите, быть может за мной уже следят. — Еще ближе пригнувшись и глядя в упор впервые не каменными, а простыми, человеческими глазами, Тихон попросил:

— Помогите, папахен, Ане... если еще не поздно. Передаю ее вам. А умному чародею поклон. Он прав — блошливый хвост — одним дуракам.

БЛОКНОТ АНИЧКИ

— ...Однако какая разница биографий: одному немецкие феи наворожили такое прочное благополучие, словно они стояли на страже, как здесь в городе стоят гренадеры у памятников царей, чтобы ничто не помешало расцвету в одном человеке всех качеств его нации...

«Ну, разве кто-нибудь корил Гете за пристрастие к мещанскому успокоительному безвкусию? А этому безвкусию тьма приводов хотя б в любой его прозе.

«А почему не корили?

«Да потому, что, обладая сами немалой культурой, соотечественники понимали: — чтобы сделать прыжок в чертовщину Фауста безнаказанно для мозгов и нервной системы, без надрывов и запоя, надо же, чорт побери, человеку, будь он разгений, отсидеться в уюте Фредерик и Амалий.

«А у нас не пожалеют отщелкать самого Льва Толстого за независящее от него природное графство, за вегетарианское дорогое меню. Кроме редьки, видите ли, едал он и артишоки...

«И одно обстоятельство невдомек: что где дураку предел — там

умному только средство, только трамплин для прыжка повыше.

«Кто поручится: не эти ли гетевы мещанские отдыхи, никем не спугнутые, и создали его воловье здоровье, необходимое для силы прыжка?

«И не туда еще прыгнешь под обожание целой страны, если притом твои старые кости, как Ависага царю Давиду, за счастье почитает согреть любая Гретхен...»

— Вы верно, окончили семинарию... — оборвал я его со злостью; он говорил то, что недавно думал я сам, оправдывая мою непродуктивность, и что сейчас больше мне не помогало.

— Да, окончил, — удивился он, — но это, полагать надо, безразлично. Хотя, конечно, на чем-нибудь сказывается. Сам замечаю. Вчера, например, не без усилий вывел светское заглавие к сборнику статей. Первоначально руку само собой понесло написать — «к вопросу». Рекомендую отметить — если в заглавии стоит «к вопросу», — обязательно автор кутейник...

Он засмеялся с грохотом, по-семинарски, и мне понравился. Он кое-что смыслит и не без остроумия подводит под всякую абстракцию здоровый материалистический фундамент.

Его фамилия Каштанов — веселая фамилия.

— Я докончу свою мысль, — прервал мою задумчивость Каштанов (ведь я теперь, как старик, каждую минуту могу отлететь от какого угодно предмета). — Я докончу о разнице биографий.

«Конечно, на вершину, куда поднялся Данте Алигьери, вели иные пути, чем на вершину Гете. Однако, не будь в Италии столь благодатна природа, а занеси его например в Петербург, и поселился бы он на Разъезжей, — уверяю вас, он вместо своей Божественной всего-навсего написал бы раньше Достоевского — «Записки из подполья». Этакий негибкий, угрюмый и страстный ум ни в каком бы Веймаре не усидел.

«Удача Данте в том, что он пришел в последнее отчаяние не среди нашей мглы и туманов, а окруженный лаврами, розами и цитронами, при температуре плюс двадцать пять, тридцать в тени-с. Возможно, что именно благодаря температуре и звездному пологу южных ночей он не спился, не самоубился, а восхитил собой все века, «выйдя из границ времен и меры и вступив в лес, где теряются все пути».

«Завидное итальянское подполье! И сказать, что даже гениальные творения определяются, если не вполне, то в половину — климатом и пищеварением».

Ручаюсь, что при таком умонастроении большого писателя из этого веселого Каштанова не выйдет, но в наперсники, как говорили в старину, я себе его возьму. Только поставлю условием, чтобы

не изводил меня пустыми разговорами и вопросами, потерявшими для меня всякую цену.

Если я сейчас в состоянии открыть рот для членораздельной речи, то с тем, чтобы сказать: «Зачем говорить? Зачем ходить, зачем поворачиваться, зачем произносить слова, если все это стоит такого труда, такой боли и так ненужно, так смешно, так постыдно».

Моя часть пятая и последняя:

— Я не могу больше есть. У хлеба телесный запах. Нельзя жить как живут. Или найти архимедову точку... или лечь.

Лечь, но не уступить!

Не хочу насилия от стихий.

Не хочу насилия от людей.

Не хочу насилия от себя самого.

Ergo — я *ложусь*, чтобы не встать.

Таковы были две странички из дневника Тихона, вложенные в книжку, которую дала мне прочесть Аничка. Эти листки я прежде оставил без внимания, сейчас же, когда Тихон уехал, я принялся за изучение этого странного человека, который стоял на пути моего личного счастья. Я пришел о нем к окончательному решению, уже чуждый какой бы то ни было злобы: — разгадка всей трагической мудрености этого человека, быть может, лишь в том, что он в сущности писатель слабого темперамента, искалеченный притом модными течениями. Будучи бессилен претворить их в искусство, он ввел их в собственный быт. Вот почему не мог уж и выдумать, чего ему требовать от полюбившей его девушки.

Аничка-то ведь его полюбила.

Или возможно и то, что сам он, Тихон, тоже полюбил Аню попросту непосредственно, однако скорее убил бы себя и ее, чем в этом обстоятельстве, простом и обычном всем людям, признаться.

Для культа «Афродиты всенародной», как он выражался, у него, как известно, были разные героини — упомянутая им Бэла наездница и дебелая Альфонсина. И по несчастной декадентской его программке я догадался: Аничка первая должна была про всех их знать, чтобы тем ярче «светить ему на горе»...

Я живо вспомнил, как тогда на прогулке в Михайловском саду Тихон повернул голову, и осветило солнце круто завернутые крылья носа, похожие на улиток на прямом его профиле, и тяжелые надвинутые брови с угрозой затаенной свирепости. И как вспомнился мне барельеф с эрмитажной вазы — скиф, натягивающий тетиву лука.

Однако, справедливости у меня хватило признать, что несмотря на скалозубство Тихона, на все декадентские фокусы — например с ананасом у простецов — большая была разница между книжно-

стью холодной столицы и той огромной внутренней тревогой, которой полон был он. Очевидно, в провинции отношение к идеям, царившим над умами, было не шуточное: там требовались не абстрактные умозаключения, а решения жизненные.

Но, воздавая должное Тихону, даже ощущая к нему взамен прежнего отталкивания чувство отеческой заботы и беспокойства, — недаром прозвал он меня папахен, — желание рассечь заколдованный узел, связавший его судьбу с судьбой Ани, стало непреклонным. Не в силах спокойно ожидать событий, я сам пошел им навстречу. Я отправился к Аглае.

Ведьмесса жила теперь совершенно одна на конце города у Тучкова моста. Я приготовился увидать Аничку, бледную, почему-то лежащую на кушетке в полной прострации. Мне открыла дверь сама Аглая.

— Аня еще за городом, но вот-вот приедет.

Она ввела меня в комнату, которая предстала мне как грандиозная плюшкинская куча: сушились на потолке и полу какие-то неоконченные чемоданы, расставлены были по стенам части стульев, выжженные под готику спинки, крышки круглых столов, ширмы с журавлями. Висело несметное количество разнообразных модных дамских сумочек. Окна были завалены обрезками кожи, склянками с жидкой краской, лаками и тому подобной дребеденью. Сама Аглая в рабочем фартуке, засучив рукава, не обращая на меня внимания, тотчас принялась за работу.

— Мне, знаете, некогда — срочный заказ.

Она надела огромные очки и стала совершенным китайцем. До такой степени она была непохожа на свой недавний облик пророчицы с лунными глазами, что я прежде всего ее невольно спросил:

— Что означает ваше превращение?

— В каждом из нас много разных людей, и зависит от того, кто на нас смотрит — увидать ему нас бедней или богаче. Вашей тетушке искренно, а вам ради смеха — любопытна была только моя фантастическая сторона. А то, что я знаю несколько прикладных ремесел, что содержу своим трудом многих, вам было невдомек. Между тем я с юности на своих ногах.

— Я удивлен вас найти в этой комнате, я не знал, что вы переехали...

— Моя миссия была окончена; мне там больше нечего было делать. — Она мотнула головой то ли в небо, то ли для обозначения улицы, где жила раньше.

— Ваша миссия?

— У женщин бóльшее богатство психических сил, чем у мужчины. Поясню одной выразительной цитатой. «Личность мужчины опре-

деленнее ограничена, как отовсюду замкнутое озеро, — личность женщины ограничена пределами ее индивидуального сознания, как бухта, скрывающая среди обступивших ее береговых высот невидимый *выход в открытое море*. Моя миссия — вывести женщину из бухты в открытое море.

Аглая сняла очки и сделала прежние лунные глаза, отчего я тотчас ее возненавидел и, пресекая дальнейшие объяснения, спросил:

— Где Аня?

— Могу ответить вам точно только насчет того, *что* сейчас Аня делает, — глянула она вскользь на часы. — Полагаю, это самое для вас главное. А где она, — в Лесном ли у одной моей знакомой или недалеко от нас в городе, я не знаю. Это зависит от того, где удобней было собраться их кружку.

— Из кого состоит он, если это не секрет?

— Секретов вообще у нас нет. Две молодые девушки, которые, как Аня, хотят выйти из «пенелопина круга», — как раз в этот час упражняют абстрактно свое материнство.

— Поясните, бога ради, — пробормотал я. — Ну как же это упражнять абстрактно такое конкретное чувство, как материнство?

Аглая повернулась ко мне, надев снова очки. Странно, что глаза, обычно теряющие свою яркость из-за стекол, у нее, напротив того, были острей. Сквозь круглые очки глядели на меня новые глаза, гораздо более умные, чем те, которые я привык видеть.

— Я не хочу читать вам целую лекцию, — повторяю, мне некогда, у меня срочный заказ. Кроме того, что бы я ни сказала на этот счет, — вам покажется ерундой. Я вам разъясню, что они делают, после того, как вы прочтете вот эти страницы о гибели Лермонтова. Аня и ее со-вольницы (так назвали они себя потому, что воля их направлена тождественно) — они все трое сосредоточили сейчас свои силы на облегчении исторической судьбы Лермонтова. Вот прочитайте статью, которая их на это двинула. — И достав с книжной полки толстый том, Аглая положила его перед моей оторопелой фигурой.

Я не без любопытства прочел заглавие: VIII том собрания сочинений В. С. Соловьева. Поискал, где тут соответствующее ее речам какие-либо секретные исписанные листки.

— Ничего нет, — воскликнул я, — тут один Соловьев.

— Его-то и прочтите, — улыбнулась снисходительно Аглая, — о «метафизической судьбе Лермонтова».

И она, взяв в правую руку штифт с платиновым наконечником, левой сжимая с силой резиновый шар, стала выжигать спинку стула под готику, распространяя в комнате угарный запах каленого дерева.

Я же с изумлением прочел статью Соловьева о том, что все, кто наслаждается лермонтовской музой, являются ответственными за его метафизическую *«гибель»* и обязаны облегчить его загробную участь, сняв с его духа одержание *демоном*.

— Как же Аничка способствует спасению Лермонтова? — тихо спросил я.

— Они все сидят рука в руку и думают особым пристальным способом, изгнав из сознания все постороннее, о том, чтобы парализовать то злое, то *демоническое*, что внесено в мир идеей демона. Они проэцируют на сознании соблазненных демонизмом людей свои силы дев-матерей.

— Но почему бы, в память хоть бы того же Лермонтова, если уж это необходимо, не отдать им своих сил чьим-нибудь детям? Сколько их — брошенных без надзора?

Аглая оставила свою работу и сказала, едва сдерживаясь:

— Итти по линии наименьшего сопротивления — это дурная бесконечность. Это все уже было века и века. Сейчас, когда подходит время полного освобождения женщины, ее равноправия, — необходимо ей себя обогащать. Организовать. Пробуждать многие дремлющие силы. Женщина — вечная невеста, временная жена, всегдашняя мать. И все это не только в плане бытовом, а уже в плане космическом...

В дверь постучали так молодо и стремительно, что я угадал — Аничка.

Я кинулся и открыл. Да, это была она. В темненьком чем-то, с легким, белым, как облако развевающимся, газовым шарфом.

Увидя меня, не здороваясь, спросила:

— Тихона видели?

— Уехал вчера.

— Жанна!—позвала ее Аглая. У меня промелькнуло, что *«Жанна»*, — как символ воительницы, в честь Жанны д'Арк. Аня тряхнула по-мальчишески головой, видимо даже физически желая отогнать мысль о Тихоне, и прошла к Аглае. Они шептались недолго о чем-то:

— Я вас оставлю, — сказала Аглая, — мне надо снести заказ. Она ловко и быстро завернула свою псевдо-готическую спинку стула и вышла.

Я остался стоять перед Аничкой, которая опустилась на диван. Она была потрясена и не скрывалась передо мной. Минуту сидела как утомленный, в конец измученный человек, не отводя взора от точки, куда случайно уперлись глаза.

Белый шарф, не унимаясь, продолжал порхать на отлете.

Забыв, что только сказала, она во второй раз спросила:

— Тихон мне ничего не оставил?

— Он экстренно выехал, обещал писать, — старался я смягчить.

— Да, конечно, он не мог иначе, — спохватилась она и уже деловито спросила: — на среде он был?

— Был, но сказал, что ему *темы культуры, а не жизни* — уже ни к чему.

— Ему очень плохо, — прошептала Аничка и вся рванулась будто куда-то бежать.

— Однако скажите, — попытался я прервать ее мысли о Тихоне,— каким способом Аглая Бреннер выводила вас эти дни из «тихой бухты в открытое море?»

— Я не понимаю... — строго начала она.

— Извольте — я помню наизусть: Аглая только что мне объяснила свою миссию. Взяв за определение мне неизвестную чью-то цитату: «личность мужчины ограничена определенными берегами как озеро, а личность женщины оказывается тихой бухтой, но скрывающей, среди обступивших ее высот, выход в море. В открытое море»...

— Ах вот вы о чем... Да, я очень много узнала за эти дни.

— Были вы на этой мистерии, где по-гречески кололи шилом, как по-своему выражается тетушка? — быстро спросил я. — Ведь старушка не на шутку перетрусила, что вы в газету попадете.

— Неужто и до нее дошла эта гнусная рецензия? — поморщилась Аничка, — недостойно читать такую пошлость. — Нет, ночью я не была. Но вещи, о которых мне пришлось услыхать в эти дни, были мне как... — она покраснела и, стыдясь слова, но видимо не находя иного, тихо докончила: — как откровение.

— Аничка, — сказал я, стараясь говорить непринужденно, — Тихон, прощаясь, просил меня заботиться о вас. Расскажите мне все, что вы узнали за эти дни. Только пойдемте на воздух. Вечер такой чудесный, хотите на острова?

— Тихон просил вас обо мне... если помните, какими словами? Мне очень важно знать правду.

Она впилась в мои глаза, сторожа их выражение, и, скрывая невольное удовольствие, я сказал:

— Передаю Аню вам, — так сказал Тихон, — позаботьтесь вместо меня.

Аничка очень побледнела.

— Он болен, и мне надо быть с ним...

Она опять рванулась сейчас вот бежать на вокзал, однако одумалась, прошлась по комнате, села. Белый шарф взвился, упал концом на пол.

— Тихон даже не хотел, чтобы я его провожал, он сказал, что

следят за ним, — осторожно выговорил я. — Не знаю его дел, но, очевидно, нельзя никому в них мешаться.

— Да, вы правы, это я так... не подумавши. Пойдемте куда-нибудь.

Мы вышли. На Елагин Аничке показалось далеко, приехали к Летнему саду и пошли пешком по аллее в самый конец, где народу было немного.

Она шла молча. Я пустился говорить какие попало развлекающие вещи, будто ничего особенного не случилось.

— Подумать только, что помнят липы этого сада? Вот посмотрите на эти самые старые в железных заплатах. Это память невероятной бури и наводнения прошлого века. Там, где замечательная решетка, стоял дворец Анны Иоанновны, в нем жил император Петр Второй, Отсюда же перевезли в Зимний дворец и в скорости в вечную ссылку на раннюю смерть злополучного Иоанна Антоновича. Тут же провозглашено регентство и Миниха и Бирона...

— Знаете что, — прервала меня Аничка, и по нахмуренным бровям и всему собранному в себе лицу я увидел, что она меня совершенно не слушала, — в тот день, как я напишу вам, что ваше присутствие необходимо, могу я верить, что вы приедете?

— Немедленно приеду, — ответил я, не колеблясь, — но разве вы хотите все-таки уехать?

— Я Тихона даже не увижу, хотя буду в том же городе. Но мне лично здесь уже нечего делать. Все, что мне нужно было понять, я за эти дни поняла.

Аня покраснела, внутренне волнуясь. Не подымая глаз, тихо, со странным упорством она подчеркнула:

— Мне дали эти дни разъяснение того, что самой мне было никак не понять, хотя Тихон не раз говорил.

— О чем же?

— О новой... чудесной любви.

Тут я выслушал от Ани целый водопад формулировок. Иных авторов я угадывал, потому что это было то самое, что они уже напечатали в своих книгах. Не желая затевать спора, опровергать и словесно трепать дорогое мне чувство, я твердо сказал:

— И простая человеческая любовь, когда она охватывает искренно и неодолимо, — уже немалое *чудо*. Чего же большего еще можно хотеть?

Аничка схватила меня за руку и подвела под фонарь, который очень ярко горел, чуть качаясь над нами. Как за волшебную черту перешли мы из темноты аллеи в его, словно циркулем обведенный, ослепительный песочный круг. Кусты обступили нас темносиние, и хотя сад заметно наполнился гулявшими, — выхваченные из

тьмы, мы были на этом светлом кругу так одиноки, как двое, течением унесенные на плоту в черноту волн.

— Ваша простая, так называемая любовь...

Аничка нахмурясь вытащила из кармана блокнот, такой гимназический, на обложке птичка с белым письмецом. Она его полистала и прочла: «смертельная тоска сексуального акта в том, что в его безличности раздавлена и растерзана тайна лица любимого и лица любящего. Этот акт вводит в круговорот безличной природы, он закрывает тайну лица. Кто это понял, тому надо искать нездешнего соединения».

— Тут все сказано. И как замечательно. Это с меня как путы сняло. Ведь когда Тихон мне цитировал из Ницше, я ничего не понимала... Сколько обижалась, сколько плакала, — доверчиво, с оттенком былой обиды добавила она.

— Но что же говорил вам Тихон из Ницше?

Аничка стояла со мной в светлом кругу. Лунный матовый шар лил ровный чуть греющий свет на нас обоих. Мне мелькнуло — мы жених с невестой, мы венчаемся под теплым небом, в венцах из света. Но это было сантиментально и неумно. Вслух я только повторил:

— Что же из Ницше?

— Я спросила однажды Тихона: — женимся мы когда? он привел мне эти слова: «никогда еще не нашел я женщины, от которой хочу иметь детей, — потому что я люблю тебя, о вечность». И вот после разговоров *там* о «смысле любви» я поняла...

Аничка вдруг опустила голову, ужасно сконфузилась. Может быть, она только сейчас сообразила, о чем говорит со мной. Пришла она ведь сразбега, угорев от бесконечных разговоров то с одним, то с другим, — и невзначай выдала именно мне секрет своих отношений с Тихоном.

Так была она мне мила, так жаль мне ее стало. Ну, можно ли допустить, чтобы для нее судьба жребием вынула этого скифского неврастеника Тихона? Что общего у нее, живой до последней кровинки, только что входящей в жизнь, с его собачьей старостью, которая исповедует себя в трех унылых частях с эпилогом такого характера:

«Не хочу ограничивать мою жажду слияния с беспредельным, мое стремление к самозабвению, уничтожению, полному смешению с дремлющим миром».

Пусть себе сливается на здоровье. Ведь Аничку он передал мне.

Опять встал предо мной этот петушиный наскок Тихона в Михайловском саду.

Если не вырвать ее, — забьет он ее своей неврастенией, задушит

«нездешним садом услад» по какому-нибудь ихнему Рейсбруку Восхитительному. Между тем создана эта девушка для простого душевного счастья.

И сказал я раньше, чем внутренно собирался:

— Вы вот ищете чудесного... Ну так смотрите, — со мной оно уже приключилось. Полюбил я вас и полюбил навсегда.

— Да ведь вы меня толком не знаете, — испуганно прошептала Аничка и кинулась с освещенного круга в темноту аллеи. Я, ускорив шаги, догнал ее.

— Разве это объяснимые вещи? Только будьте уверены: чувство мое прочно. Вот пошли бы за меня замуж.

Она подумала и очень серьезно, почти с сожалением, словно не ее это касалось, а совершенно объективно обсуждала она мое предложение, как ей подходящее, но несбыточное, сказала:

— Нет, знаете, это невозможно. Это никак невозможно. — И блокнотик свой протянула, — никому не дам, только вам одному. Я вам очень верю. И простите меня. Здесь вот все лучше написано, чем я сумею вам высказать. Для меня ведь все это новое такое — прошу вас прочтите.

Я взял смешной блокнотик, заветный альбом девичьих записей, кусочек самой Анички и, ощущая себя гимназистом прежних лет, улыбаясь спросил:

— На-совсем даете или надо отдать?

— Ах, конечно, отдать. Я сама зайду.. Я к вам вечером зайду, вы будете дома?

— А разве я могу не быть дома, если вы придете? — вопросом ответил я.

— Я вам верю, я буду звать вас дядя Том.

Придя домой, я не сразу стал читать блокнотик аничкин. Я снова впал в сантиментальность. Я положил его перед букетом черемухи и предался мечтаниям.

Опять стоял я с ней в ярком кругу освещенного электрическим светом песка. Качался, свисая над нами матово-лунный фонарь, и мы оба, простые, легкие, веселые люди, взялись за руки, чтобы вступить вместе в жизнь.

Бессмысленно, ненужно, чудовищно глупо было то, что нас разделяло. Ведь природа наша была, как говорили в старых романах, так созвучна. То, что Аничка первый пыл отдала Тихону, который сейчас в ней уже не нуждался, было поправимое дело. Жестокие слова «уже поздно» — были сказаны Аней вовсе не по причине ее необоримого чувства к Тихону, а по отношению известного порядка абстрактных идей, плохо ею переваренных философских абстракций.

Я развернул гимназический блокнотик с птичкой. Прежде в такие

вписывали стишки и страницы прозы, потрясающих воображение любовных признаний всех времен и народов. Аничкин блокнотик был с параграфами:

«§ 1. Давно за пяльцами нет Пенелопы, ни той сказочной девицы, которая сама ни гугу, а во лбу у нее звезда. А добрый молодец добывай ей ковер-самолет и скатерть с возобновляемым каждодневно меню.

«Слуга покорный.

«§ 2. Однако вечная женственность бессмертна, пока дышат разнообразием торсы Афродиты и Аполлона, пока различие анатомических форм — легко осязаемая конкретность. Но и тут — увы! Вечная женственность рассечена. Прекрасной даме, как в средние века, — песнь и подвиг. А быт, каждодневная наличность — вполне обыденной жене-домохозяйке.

«§ 3. Задача прозревшего в тайну восстановления ущербной личности это — как объединить в одной персоне Альдонсу скотницу и даму сердца Дульцинею Тобосскую? У нас же, у всех непрозревших, — как у теряющего разум Бодлера — два одновременных обращения — одно к мадонне, другое к Содому.

«Соответствующие цитаты, эту мысль подкрепляющие, я выпишу вам на отдельном листке.

«В заключение — мораль, обобщающая все три вышеприведенных параграфа уже не по моим умозаключениям, а по самому Владимиру Соловьеву, следующая:

«Проявление истинной высшей любви — совсем не в любви —

а) половой,

б) родовой,

а только лишь такой, где, касаясь другой сущности, находишь бесконечность собственную.

«Отсюда практический вывод: не отказываться от изжития своей многоликости (вывод уже не Соловьева, а мой — А. К.).

«Отказаться — значит проявить малодушный страх перед спасительным огнем, на котором плавится нечистая руда, выделяя из себя чистейшее золото.

«И предложение — (опять не соловьевское, разумеется, а мое — А. К.) — давайте, Аня, наши энергии изживать вместе!»

— Какая глупость, какое опошление замечательных чужих мыслей. Кто этот негодяй с буквами А. К.?

Я перебирал всех писателей и художников, но не нашел подходящего. С этими инциалами оказывались какие-то очень почтенные, умные люди, которые подобную гниль не стали бы писать в альбомы.

Бедная Аничка прямая, серьезная в чувствах провинциалочка.

Она конечно увидела совсем иное, какую-то ей объясняющую, ей нужную руководящую нить в этом эклектическом винегрете.

Я встал рано и с головой ушел в служебные спешные дела и только вечером, перед самым приходом Анички, схватился опять за ее блокнотик. Перелистывая его до конца я в уголке приметил с волнением несомненный почерк самой Ани. Она раза два посылала мне записки, и я отлично помнил эти еще детские широкие буквы. Это была уже собственноручная выписка из какого-то современного мыслителя, которого я не знал. Выписка была обличающая:

«... Расплата за подлинную встречу любви должна быть всем существом.

«Чтобы стать адэкватным тому, в кого веришь и кого любишь, — надо изжить, удалить из себя все, что не есть эта вера и эта любовь.

«Чтобы тинктура огня могла соединиться с тинктурой света, тинктура огня должна прокалиться, чтобы остаться при своем чистейшем *пламени*».

Над словом огонь стояла вверху мелким бисером заметочка «для себя» — Тихон. Над словом свет — Анна.

Все было понятно.

Еще ниже была окончательно разоблачающая строка:

«А пока тинктура огня не прокалилась, — «так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук». И в заключенье опять мелко-премелко: «В оправдание Тихона».

Я не успел закрыть блокнот, так на этом месте и остались раскрыты листки, когда на слабый звонок я открыл дверь.

Аничка тотчас заметила свою книжку, быстро шагнула к столу, схватила ее, вспыхнула.

Я понял, что она вдруг сообразила все выводы, которые я могу сделать на основании этих приписок ее рукой.

Она взмахнула на меня темными неблестящими глазами и сказала с вызовом:

— Да, такой именно любви, в которой утверждается моя личность, единственной и неповторимой, — только такой я хочу. В такой любви раскрывается лицо любимого через оболочку природного мира... (Наизусть, душенька, заучила).

Я невольно улыбнулся, но строго так Аничка отстраняющим тоном:

— Влечение же к сексуальному со мной акту, который безличен,— меня ничуть не прельщает.

Чрезвычайно она была мила, когда все это залпом...

И окончательно убедила меня, что чудо приключилось со мной, пока они тут прыгали выше головы.

— Аничка, — сказал я осторожно, она ведь была не на шутку

потрясена необыкновенными для нее формулировками, и разубеждать было вдруг невозможно, — Аничка, кто писал вам все эти странички? Почерк ваш только на последних листах. Кто этот загадочный А. К.?

— Аркадий Кверман.

— Кверька? — вырвалось невольно у меня, — да ведь это пошляк, медиум, у него ни одной своей мысли, да его просто и в природе нет. Это пустой мешок, куда он попал, там и наполнился. Вещает от чужой мудрости, вульгаризирует, упрощает.

— Быть может, оттого мне наконец и стало многое понятно,— сказала скромно Аничка, — что он упрощает. Но сам этот человек, уверяю вас, меня не трогает нисколько. И он ни на что мне не нужен.

Помолчав, Аня сказала:

— Вот вы, дядя Том, мне очень стали нужны. И думаю, на всю жизнь нужны. Вы, значит, приедете?

— Я приеду, — сказал я, стараясь не выдать голосом надежду, которая меня охватила.

Писем долго не получал я никаких. Но про жизнь Анички неожиданно узнал от того носителя веселой фамилии — Каштанова, — чьи листки обнаружил в книге Тихона.

Этот Каштанов был веселый, кудлатый, похожий на свою фамилию и на дворового доброго пса. Произведений Тихона он совершенно не принимал и считал его самого непомерно самолюбивым неудачником, который из милой Анички себе сделал «прекрасную даму», с расчетом пришпорить свою ленивую и неяркую музу.

Быть может, сам Каштанов был несколько к Аничке неравнодушен и невольно упрощал, но оценка его совпадала с той, которую внутренно сделал Тихону и я сам. Однако этот Каштанов успокоил меня, сказав, что напряженные отношения Тихона с Аничкой по-видимому кончились, последнее время они совершенно не видятся, и Аня живет уединенно, занимаясь самообразованием. Велела мне передать, что не пишет, потому что уверена, что мы в скором времени увидимся.

Я воспылал всевозможными надеждами и налег со всей силой на окончание университета, так что и времени не оставалось на мечты. Торопился окончить и явиться перед Аничкой, свободной от Тихона, пережившей первую горечь разочарования, и возобновить с бóльшим успехом свое предложение.

Не мог же, в самом деле, я поверить, что абстрактные умозаключения могут ломать судьбу, как реальные события. Нет, я решительно не был человеком того времени...

Среди розового тумана, меня одурившего, было одно темное обстоятельство: Аглая Бреннер исчезла из столицы, поехав в турнэ

содним художником, своим дальним родственником. Он возил свои экстравагантные картины, она читала предварительную, их поясняющую лекцию. Сами по себе художественной ценности картины эти не имели, — для завлечения публики необходимо было «подать» их с оккультной, музыкальной и чорт его знает какой еще точки зрения.

Я вспомнил, что слыхивал от Аглаи про этого художника, по имени — Вадим, еще в Питере.

Она включала его творчество в «зону Люцифера» и прорицала, что чем более преуспевает Вадим как художник, тем вернее его гибель как человека. И помочь ему в силах только женственность, стоящая под охраной «белого луча», — иначе он погиб, притом погибкне на одно, а на несколько воплощений.

Все это Аглая говорила для внушительности со сложными цитатами и примерами на нескольких иностранных языках.

Каштанов сообщил, что с тех пор, как приехала Аглая, она неотлучно при Ане и все ей что-то нашептывает по адресу Вадима. Только едва ли этот Вадим победит сердце Ани...

Я уже знал об опытах дев-матерей над судьбой Лермонтова и не беспокоился.

На всякий случай, чтобы отслоить влияние друидессы, я, не будучи в состоянии отлучиться из Петербурга в те дни, послал Аничке длинное письмо с разоблачением так называемого «инфернального» творчества Вадима. Я писал, что Вадим просто богатый вырождающийся барич, не знающий с жиру, что ему предпринять. Картины же его, в лучшем случае, не что иное, как чисто анатомические шалости. Я доказывал, ловя его с поличным, что он в своих «Скелетах» — без малейшей фантастики просто-напросто переместил, где позвонки, где кости. В «Призраках» из обыкновенных человеческих внутренностей, нежно голубых кишек, пузырчатых легких и прочего сплел безвкусные, якобы *адские* гирлянды. И все это подмалевал заимствованным у одного действительно крупного мастера живописным тоном.

Автопортрет же его, — главный «люциферический» козырь в руках друидессы, — окончательно неприличен.

Сквозь прозрачное тело, как сквозь стеклянную среду, его кровоточащее сердце пронзается раскаленными проводами. Лиловыми глазами палой лошади он смотрит в мечевидный свет, падающий откуда-то сверху. Это опять живописный плагиат, который совсем нетрудно разоблачить. Много я еще наболтал с намерением потопить пресловутого Вадима и сделать его смешным в глазах Анички.

Но особые обстоятельства были против меня, они подготовили такую катастрофу, которой я и не чуял.

Ответа на свое длинное послание, способное парализовать одним махом, как я полагал, вредное влияние Аглаи, я не получил вовсе.

Зато прилетел в столицу Каштанов и крайне взволнованный явился ко мне.

ЛЮЦИФЕРОВА ЗОНА

Каштанов рассказал мне про Тихона дикие вещи: приехав из столицы, он куда-то исчез, через неделю вернулся тучи мрачней, заперся.

Был у него обыск по подозрению в нелегальных связях. Кроме стихов и собственной прозы ничего не нашли и оставили в покое. Молодежь стала немедленно фантазировать; выдумали, что он особенно тайный и важный революционер. Умножила его популярность и препохвальная статья местного критика, появившаяся, как водится, с опозданием и ориентацией на мнение столицы. Юнцы стали осаждать Тихона вопросами, как им следует жить и за что умереть, и устроили его вечер.

Тихон воспрял духом и ушел было с головой в работу. Однако скорехонько сорвался. Неврастения его заела или просто пороху нехватало удивить мир новой выдумкой, — только работу он бросил и начал лютеть.

В придачу к беде посыпались отовсюду счета на забранные некоей Бэлой товары, далеко покрывавшие его гонорар и авансы. Всегдашняя хозяйка Тихона — Альфонсина, стала закатывать ему скандалы с извержением за окно посуды. Соседи грозили полицией.

В один из особенно незадачливых дней, когда злой, больной и бесплодный лежал Тихон в постели, не желая вставать и жить, вошла обеспокоенная его состоянием Аничка, вызванная Альфонсиной.

Оказывается, эта Альфонсина по-своему даже Аню любила, именуя ее — святая дуринька.

Каштанов не отпустил Аню одну и все время сидел в соседней комнате, пока она виделась с Тихоном.

Тихон о чем-то говорил мучительно долго. Сам себя распалял, переставал владеть нервами. Наконец, сжигая все корабли, он намеренно повысил голос и, подчеркивая слова, выкрикнул:

— Развели себе на голову чортову сложность.. да сошлась бы ты с кем-нибудь!

— Это ты как... ты серьезно?

Аничка уже выходила и очень бледная повернулась в дверях к Тихону.

Тихон одетый лежал на постели. Он чуть привстал, облокотясь на левый локоть. Был тоже бледен, спутанные, давно нечесанные

волосы, падали на лицо, но пьян он не был. Омерзительно усмехнулся:

— А ты как полагаешь? Всю жизнь под колпаком тебя надо держать, эдакой мадонной? Во вкус вошла. Ладан самолюбию льстит?

— Тихон...

Он в бешенстве вскочил одним прыжком как зверь, хлопнул дверью, щелкнул ключом, закричал на весь дом:

— На улицу!

— Если б не заперся, — избил бы я его, — мрачно сказал Каштанов, — этакий гнусный гамлетишка!

— Что же Аня?

— Увел я ее и некоторое время, как пес, сторожил. Как села она перед окном, так и сидела. И, хоть на улице шел обычный уличный грохот, видно было, что ни одного звука до нее не доходит, словно в гробу она, глубоко под землей. Однако, чуть в прихожей звонок,— так и вздрогнет. Понял я: письма от Тихона ждет.

Ни сегодня, ни завтра письма не было. Конечно, Тихон не мог забыть того, что сказал. Значит, озлобился и самого последнего захотел. Она же, Аничка, выходя порой из глубокого самозабвенья, твердила одно только слово: — «Ну, хорошо, хорошо...» Предположить можно, так твердить станет какой-нибудь японец, собираясь произвести свое японское харакири, сиречь вспороть собственное нутро перед порогом обидчика.

Вот тут-то и стал этот запредельный художник решительно ухаживать за Аней. Присылал букеты необычайных орхидей со своим дневничком, полным мудреных иносказаний и многоточий, которые заполняла словесно известная друидесса лестными для своего Вадима комментариями и всегда до женского чувства доходчивой речью на тему спасенья из «бездн».

А дальше события были таковы:

Как-то вечером, когда уже в совершенном отчаянии от безмолвия Тихона, привычно, как истукан, сидела Аня у окна, и даже Каштанова рядом не было, — пришла вкрадчивая друидесса с приглашением на ужин в мастерскую Вадима. Торопила, шептала проникновенным голосом в самое ухо:

— ...перед выходом вечерней звезды, магической Веспер, воздействие светлой силы на силу темную благоприятней всего. О, торопитесь спасать того, кто взывает о помощи именно к вам! Велика гордыня — желать собственного выбора. Дхарма каждого обязывает его помочь именно тому, кто зовет, а не тому, кто отталкивает.

Корысть была несчастной этой друидессе или являлась она просто бескорыстной иллюстрацией к утверждению Вейнингера, что женщина, когда перезрела быть любовницей, делается сводней?

Я забыл мимолетное благоприятное впечатление, которое получил, застав ее в собственной мастерской прикладного искусства, и не отбудь она с полной внезапностью за границу — я бы с ней посчитался.

Ведь на хитроумие этой авантюрной особы милая бедная провинциалочка в конце-то концов ответила свое: — «Хорошо».

И обе пошли на ужин к инфернальному Вадиму.

Художник был расстроен и зол. Ему с выставкой не везло. Наперебой ругались критики и, что хуже всего, доказывая отсутствие в нем оригинальности, выискивали действительные перевоисточники всех его удачных вещей.

Он был польщен приходом Ани, которая ему сильно нравилась. Друидесса не преминула его осведомить о «вампиризме» Тихона, от которого ему, рыцарю, надлежало спасти чистую деву — Аничку.

Кроме того Вадим знал лично петербургскую тетеньку, от нее имел верные сведения о том, что Аня не бесприданница, а есть у нее не малый капиталец. Знал и про Бэлу с Альфонсиной и про последнюю обиду, нанесенную Тихоном Ане, про тщетное ожидание ею письма.

Самое же главное — Вадим думал о том, что, если написать Аничку такою, как она сейчас, — полной гордым безмолвием оскорбленного девичьего чувства, с темными матовыми глазами, глядящими внутрь, — то в больших дураках окажется критик, укорявший его в надуманном кривляньи и бездушности.

Он упросил Аничку ему позировать, а в скором времени предложил ей за него выйти замуж. Друидесса была посаженной и надсадно, как дятел, долбила всем уши цитатами, разъясняя, какие именно цвета в поблекшей от многих «падений» ауре Вадима с каждым часом возгораются с прежнею яркой силой.

Аничке было все равно, и она со всем соглашалась.

Почему вспомнила она обо мне так поздно? Вспомнила уже после того, как Альфонсина прибежала к ней с черного хода, вся в слезах, с криками, что «герр Тихон лег на постель, как совсем мертвый, и не хочет больше ни кушать, ни пить. Он хочет один раз умирать».

Тогда Аничка прислала мне телеграмму с просьбой ехать без промедления.

Я приехал. Мне дверь открыл сам Вадим. Он сообщил мне, что Аня у друга своего детства, который совершенно расстроен. Он покрутил пальцем перед собственным лбом, что в деликатной форме обозначало — сошел с ума. Давая адрес Тихона, он попросил привести его жену домой и кстати у них отобедать.

— Надо обязательно Аню развлечь, — сказал он. — Она уже несколько дней отказывается мне позировать, а выставка скоро, и моя картина рискует быть неоконченной.

Тихон жил очень высоко, почти под самой крышей. Меня впустила Альфонсина. Она была в клетчатом платье, очень толстая, с завитой по-старинному чолкой. Глаза, вероятно, много плакали, потому что белки были красноваты, а, может быть, Альфонсина была уже выпивши. Мне бросилось в глаза, что на толстом пальце ее сидел медный крепкий наперсток с изумрудного цвета вставленным камнем. На цыпочках, неожиданно легко ступая, она повела меня к Тихону, одновременно шепча мне в самое ухо:

— У него очень пустой комната. Он все из своей комнаты вымахивал рукой. Ну да, вымахивал, чтобы выносили — и стол, и стул, и шкаф.

Действительно, в комнате Тихона буквально ничего не было, кроме белых стен и невысокой, поставленной прямо посредине, кровати.

Он лежал тихо, как только что приведенный в порядок покойник, в новом пиджаке, скрестив на груди руки. Ноги прикрывал плед до странности ровно, без единой складки застывший на недвижном теле. Белоснежная подушка подчеркивала потемневшее, еще с печатью летнего загара лицо, отчего столь мне знакомые, прямые и белесые, волосы казались еще белей и мертвей.

Альфонсина придвинула мне скамеечку близко к кровати, и я сел. Она же стала на колени с другой стороны и сложила руки, как в кирке на молитву. Тихон не изменил положения, хотя не мог же он не слышать, что рядом с ним люди. Но он не открыл глаз, и ничто не дрогнуло в его лице. Тогда Альфонсина заговорила так нежно, как я не мог от нее ожидать, и с удивлением оглянулся, не ослышался ли? Только тогда увидел я Аню, стоявшую в углу. Она мне сделала чуть заметный знак рукой, прося не двигаться.

Альфонсина говорила:

— Мой милый герр Тихон, откройте ваши глаза. Ваш верный друг здесь. Ihr treuer Freund ist da. Ваш правдивый друг. И он издалека ехал. Он не имел сна эту ночь. Он очень устал, ваш друг, и он любит вас, герр Тихон. Не вымахивайте вашего друга из комнаты, как вы уже вымахали стол, стул и диван.

Наконец Тихон открыл глаза. Он тускло обвел ими комнату. Сначала вокруг всего потолка, потом спустил взоры пониже, протянул их от стены к стене, как будто глазами измерял площадь. Когда в его кругозор попалась голова Альфонсины, он с нетерпеньем, как надоевшую, наконец найденную муху, отмахнул ее рукой. Альфонсина тотчас вышла за дверь, послушно и плавно, как королева.

Аничка продолжала стоять, прямая и бледная. Она всех больше походила на мертвую. Между тем глаза Тихона добрались до меня.

Он их отвел на миг, как бы припоминая, потом наставил опять — ясные, умные, но лишенные всякого жизненного любопытства. Медленно протянул мне руку, но не пожал. Так и осталась его рука, чуть теплая, но мертвая лежать в моей.

Я нагнулся к нему.

— Болит у вас?

Он покачал отрицательно головой.

— Что вы хотите?

Он, с трудом ворочая отвыкшим говорить языком, произнес:

— Свою *тему* нашел — хочу уйти в тишину.

Помолчал, слабо пожал мою руку, прибавил чуть слышно:

— Все поздно. Не мучьте.

Я встал и вышел в другую комнату. Безмолвно поздоровались с Аничкой. Там были два врача. Они мне сказали, что больной просил перевезти его в сумасшедший дом несколько дней тому назад. Тихон иронически пояснял, что совершенно необходимо поместить его по принадлежности, в уважение к общественной логике, потому что он задумал прекратить свое существование необычным способом.

— Но мы не могли этого сделать, — объясняли врачи, — он вовсе не сумасшедший, и кроме того там переполнено. И вот он велел все вещи вынести вон из комнаты и перестал принимать пищу. Сегодня он уже отказался пить. Положение становится серьезным, необходима будет применить насильственное питание.

— Ах, как можно! Он будет сердить, он ведь не глюпенький! — воскликнула Альфонсина.

Врачи, как им свойственно, вследствие самонадеянности и притупленных нервов, говорили еще долго и слишком громко, не считаясь с тем, что пациент их мог услыхать.

И Тихон услыхал. Он приподнялся на локте, глянул во все глаза, на миг мальчишески веселые и дерзкие, как бы говорящие по адресу врачей: — чорта с два!

Тихон сделал небольшое движение, мне показалось, он смахнул что-то с усов. На самом же деле он проглотил нечто, очевидно, давно заготовленное и действующее без промаха. Должно быть, у него все было обдумано, и он решил действовать, как только ему помешают кончить жизнь по собственному замыслу.

Аничка первая увидала, что Тихон мертв. Она вскрикнула коротеньким криком, кинулась к нему, схватила его крепко за шею, приподняла высоко уже мертвую голову, и стала в исступлении ее целовать. Врачей, только что вышедших на улицу, вернули обратно.

Альфонсина горько сказала Аничке:

— Ну, зачем ты вот так не поцеловала его, когда он был живой. Он бы и остался живой.

Она, поддерживая Аничку, отвела ее к окну. Водкой от Альфонсины не пахло, нет, она не была пьяна. Доктора возились над Тихоном, по обязанности хладнокровно применяя, как на экзаменационном объекте, все свои знания, бессильные возвратить жизнь. Я подошел к окну.

Головка Анички лежала на мощной груди Альфонсины, и та машинально стучала ей по затылку пальцем в медном наперстке с изумрудным камнем и говорила:

— Ты глупенький, ты должен был просто ходить к нему в кровать. А ты много книги читал. У женщин путает голова, если много будет читать.

И она снова стучала легонько медным наперстком по затылку Анички, как будто это занятие имело силу успокаивать голову, которая много читала книг.

— Послушайте, — отозвал меня доктор, — пьяную Альфонсину надо удалить, вероятно эта дама не знает, кто она.

Аничка услыхала, рванулась к доктору и, держа крепко за руку Альфонсину, с гневом сказала:

— Она мой близкий друг — вот кто она.

И они вышли вместе.

К художнику Вадиму я зашел только вечером. Он был любезен, много говорил о загранице, про Аничку же сказал, что она больна и не выйдет. Я долго не сидел. Он спросил, где я остановился, и пообещал наутро зайти отдать визит.

Но утром пришел не он, а одна Аничка. Она была так бледна, так печальна, что расспрашивать ее я не имел духу. Сама она заговорила как раз про то, о чем я думал всю эту бессонную ночь.

— Простите меня, что я не написала вам раньше, до замужества. Я это сделала из уважения к вам. Посудите, могу ли я кого-нибудь в жизни любить после Тихона? Все чувство ушло на него, а умереть мне еще невозможно — так вот, в жизни ничего не поняв, нельзя уходить. Надо как-то себя поместить. Вадим ничего не видит, кроме себя самого, и требований человеческих у него никаких нет. А вы — человек. С вами я бы не могла... Видите — ни обиды вам, ни обмана нет с моей стороны. А просить я вас пришла об Альфонсине. Увезите ее с собой: она отличная хозяйка. Если вам не нужна, устройте ее куда-нибудь. Лучше всего в приют к детям. Она хороший человек. И пить она больше не будет.

— А вы?

— Когда я найду какой-нибудь смысл в своей жизни, — я вам напишу, мой единственный друг.

Аня меня поцеловала, и мы на всю жизнь побратались.

Уехала она к одной родственнице, ошеломив всех городских сплетниц и Вадима. Уехал и я.

Очень долго писем не было. Я знал, что Аня стала актрисой и следил по газетам, где она играла. Доходили о ней странные слухи, которые, впрочем, я счел сплетней завистниц...

Потом вскоре услышал, что она заболела чахоткой и вернулась к Вадиму, в тот же южный город, где мы с ней вместе похоронили Тихона. Я написал ей и получил длинный неожиданный ответ:

... Видеться нам не надо, — писала она, — я очень больна, и люди мне тяжелы. Сама уже не человек, я могу выносить одного Вадима, который влюблен в себя больше прежнего и пишет с меня потусторонних уродов.

Но вы хотите знать, что мною пережито, и я самое главное скажу вам без всякой лжи.

К себе я отношусь объективно, как к материалу для грядущего бытописателя. Я жертва провинциальной романтики наших дней. Эта несчастная романтика заставила меня, как и многих других, перенести из столичных рассуждений, вышедших отдельными книгами, в свою собственную, кровную жизнь вызов закону необходимости и предела. И то, что я вам про себя расскажу, было бы только пошло и глупо без этого сознанья.

Для довершения объективации и чтобы не соблазниться себя приукрасить, я представляю себе, что вам, воображаемому редактору журнала, отдаю свою краткую повесть. Заглавие ее:

КУСТЫ БУКСУСА

В ранней юности, когда вы меня впервые узнали, были у меня особенные отношения с одним человеком. Быть может, даже не любовь, а нечто большее — взаимная одержимость. Чувство это испепелило меня, и когда умер он, умерла надолго и я.

Вы знаете, как я себя поместила к известному вам художнику. Это был подсознательно честный поступок, потому что, не успев развиться умом и сердцем, я уже чувствовала себя опустошенной. А человек этот способен был не к живой жизни, а лишь к игре в бирюльки, хотя называл он эту игру разными значительными именами.

Жить я не могла, умирать было страшно. Я по-своему решила тоже играть. Стала актрисой.

Были связи холодные, опустошающие, и росла злость, что никто мне не ставит предела, и ничего, никого не было жаль. Но втайне ждала. Даром, что ли, столько стихов о «встрече» засело в памяти. И, когда окончательно изверилась, — встретила.

Если рассказывать голые факты, — довольно обычная женская история нашего времени, но все-таки расскажу.

Говорят, в конце концов человек своей волей вызывает на свой путь все, что сильно хотел, беда только, что приходит желаемое в неурочный час.

Словом — встретилась. Случилось то самое, о чем с большой буквы — Великая Встреча — в те годы писали, болтали, мечтали.

Во всякой приблизительной любви надо что-нибудь мысленно добавлять или заменять, и пропадает любовь обыкновенно от этого мелкого утомления, а вовсе не от крупных катастроф. Капля камень долбит.

Так вот этой капли не было. Полный вздох, абсолютная свобода. Встретились, как настоящие, живые, недосоздаваемые воображением. И в чувстве не было постепенности, нарастания, под влиянием слепящего волю влечения. Все сразу, полностью, как в сказке. Надо было только *поверить*, только не спугнуть.

Я была вызвана в другой город по делам умершей родственницы, решили ехать вместе. Оттуда, из другого города, я должна была написать Вадиму, что ухожу от него, на этот раз навсегда.

Накануне отъезда, когда уже были взяты билеты, мы еще раз сказали друг другу для всех, кроме нас, смешными словами, что не можем и не хотим жить друг без друга. И что любовь — настоящая правда.

Так значит есть любовь? — изумлялись мы и утверждали, что любовь есть, и были счастливы.

Почему опоздал он чуть-чуть на вокзал, — не знаю я. Мы должны были встретиться у перрона. Второй звонок, а его все нет. Я стояла поджидая у входа рядом с большими кустами цветущего буксуса в мой рост.

Почему-то они были непривычно высокие, а за первым шел еще ряд. И если стать между, сняв яркую шляпу с бантом, то тебя уже и нет.

Какой вздор, — столько тратить забот на украшение вокзала, когда вокруг земской школы свинарник...

Ясно помню, я это подумала, ради шутки перекидывая ногу через низенькие перильца, отчего оказалась за кустами буксуса.

Он подходил в синем дорожном костюме, полный мысли обо мне. Я угадала, как это бывает в долгих счастливых супружествах, о чем эти мысли. И сама так любила его, что, как говорят маленькие швейки, пошла б на тысячу пыток, умерла за него тысячу раз. Именно такую глупость ему навстречу шепнули мои губы. И что же я сделала?

Он, мчась вперед, пропустил меня, скрытую кустами буксуса, будь они прокляты.

Он задел мое платье, он чуть коснулся моей руки. Но он пролетел мимо.

И необъяснимое произошло. Сам дьявол шепнул мне это из кроваво-красных георгин: — сейчас он вернется обратно. И если у вас, как в сказке, если он любит, как тебе надо...

Уже я слышала смех его. Лукавая радость была во мне, — он *угадал* меня не видя.

О, соблазнитель Данте, зачем знала я его наизусть! В своей песне тридцатой он подчеркивает достоверность встречи своей с Беатриче именно тем, что она им узнается н е з р е н и е м:

«Не узнавая ее с *помощью глаз, но благодаря тайной силе, исходящей от нее*, почувствовал я все могущество любви»

Он прошел озабоченный, нахмуренное потухшее лицо. Опять задел меня, не видя, взял извозчика и уехал обратно в город. Нет, не стану перед смертью лгать. Если бы я даже знала в тот миг, что будет дальше, — я все-таки сделала бы то же самое — я не вышла бы.

Закружило меня, свело с ума. Не выразить это словами.

Но только сил удержаться у меня не было, и свою судьбу я искусила.

Подождите судить меня, поймите, в чем дело... Подумайте только, сколько чужих губ говорили мне те слова, не другие, те самые, — про любовь.

Те, все чужие, — этот неотделимый, а слова — одни. И самое страшное: встал как живой Тихон, каким был он тогда в Михайловском саду... вы помните? Вы, я знаю, видели, как он сердился, и каменные были его глаза. Все встало.

Вселился в меня Тихон. Это он хихикал, это он поддразнивал:— вот случай *проверить*, а ведь не посмеешь? И вот не узнаешь: все ли власть лукавого тела, или есть *великая встреча* одного и одной. Ведь и про меня ты, было, подумала, что я *единственный* и на всю жизнь.

Что за безумную вечность прожила я там за буксусом, глядя ему вслед, молилась ему, как богу, — не дай сделать мне то, что замыслила! Не поверь мне. Разбей навождение!

Нет, это не истерика, это только то, чем мы в те годы дышали. Это была — жажда чуда, жажда запредельного «взрыва границ». Писатели, которые нас на это вызвали, конечно были умнее нас, но менее честны. Мы же наивно пошли до конца, мы создали смешную трагедию слишком доверчивых читателей. Мы поверили чудесам. Мы поверили, что тот, «кто научится летать, сдвинет с места все пограничные камни». Мы захотели *летать*. Это была попытка с негодными средствами, — мы разбились. Мы оказались бескрылыми.

Я уже знала, что никакого чуда не будет, когда из рук горничной взяла записку. Оказывается, он уже был и крайне взволнованный.

В записке раздражение, смутный намек. Он так легко, так *сразу* перестал мне верить. Может, мне почудилось между строк и лишнее, но уж одно-то было несомненно: дьявольский гипноз, во власть которого я попала, он не был в силах разбить. Он был обыкновенный, влюбленный, здоровый человек.

С ним не будет разбита отдельность, не будет смыто «люблю» чужих губ. Так пусть же мечта остается мечтой.

И я сделала самое последнее. Я сделала непоправимое.

Я написала ему пошлые строчки, первое, что пришло в голову из романов с глупой героиней. Это были нарочные, совершенно не мои слова, не по-моему сказанные, о том, что увлечение кончилось, и мы друг другу чужие.

Дала горничной и осталась в передней у дверей, чтобы самой ему открыть. Вдруг придет, своими глазами захочет увидать *ту самую,* которой так *верил вчера.* Должен прийти, хотя чтобы убить. Стоит убить, если в записке правда.

Или придет, потому что не поверит? Потому что догадается. О, тогда любовь покроет всю боль, все выпрямит. Если придет, какое богатство всем людям, всему миру откроется в наших сердцах.

Звонок. Не его. Точный служебный звонок. Открыла — посыльный. Несколько невероятных строк от него.

Все вмиг соскочило. Только б не опоздать. Кинулась без шляпки на улицу. Извозчик, скорей...

У его квартиры толпа. Расступились. Поползли злые шопоты, брань. Все равно, скорее к нему. Меня не пустили. Все было поздно.

Аня не умерла. Она очень поправилась в деревне у своего дядюшки, большого охотника и простака. Вернувшись к необъяснимо с ней связанному художнику Вадиму, она вскоре родила дочь и выздоровела сама.

Медики утверждают: это довольно частый случай, что в молодых годах беременность спасает от скоротечной чахотки.

У Ани началась совершенно новая жизнь, уже не имеющая ничего общего с прежней. Записки здесь кончаются. Я хочу сделать выводы...

Нет, Лагода дальше читать не стал. Он выводы делал сам.

Должно быть, они были какие-то необычайные, его выводы, потому что он странно побледнел и бросил на пол записки Таманина. Рванулся к двери куда-то бежать, махнул рукой, уткнулся лбом в стену, как бешеный хватил стену кулаком зарыдал.

Опомнился, вытер глаза, подошел к зеркалу и глянул с изумлением на самого себя. Обыкновенное лицо интеллигента с козлиной бородкой, покрасневшие, как при насморке, нос и глаза.

Лагода, поклонившись этой отраженной в зеркале персоне, сказал ей громко, с иронией, как актер, зубрящий роль на досуге:

— И в каких же, братец, ты дураках... в стоеросовых.

Из чужой «пробы пера» бедный Лагода узнал, наконец, недостающий кусок своей собственной биографии.

ОТСТАВНОЙ ОТЕЦ

Лагода долго сидел в самозабвении. Обрывками кружились в голове мысли. Так в городском саду после боя конфетти выметает на утро садовник разноцветные, легкие клочки папиросной бумаги, и они кружатся опять и опять.

— «И сладко мне крушение в этом мире...» — прошептал Лагода и подумал, что этот стих Леопарди, который Элла так любила повторять, она, судя по рукописи, вынесла в своей памяти из того самого кружка, что там описан на *средах*. — И какая она к чорту Элла — Консюэлла? — ничуть не похожа.

Он поднял рукопись, все еще лежавшую на полу, и мысленно закончил: «А вот между некой *Зоей Павловной* и героиней этих записок *Аничкой* — в последних главах действительно сходство имеется. И где в рукописи пробел, там текст в моей памяти свеж, как вчера.

Он положил рукопись на стол и выдвинул тайный маленький ящик. Порылся в нем и достал пожелтевшее от времени письмо. Единственный документ прошлого о существовании его дочери. Кто же она, эта дочь?..

Позвонили. Он впустил Саню с Мавриком. Оба веселые, румяные, совершенные молодожены. Давно уже Лагода замечал, — всюду ходят вместе.

— Мы к тебе сразу по двум делам, товарищ Лагода, — сказал Маврик, — и первое дело вот: изволь-ка в кратчайший срок изобразить твое посещение могилы Гоголя, — чортова у тебя интуиция была туда таскаться. Критов говорит, все ты в подробности записал, кто где лежит, и памятники и всякую могильную рухлядь. Дело в том, что сейчас эти могилы — уже история. Так-то. Гоголя и славянофилов на-днях отрыли и с почетом переправили в Новодевичий, а реликвии всякие, что при них оказались, сданы под номер в музей.

«Реликвии следующие: у Хомякова на груди алебастровый сосудец, соборовали, должно быть, по обычаю, у Веневитинова с пальца знаменитейший перстень, им воспетый. Веневитинов,

вообрази, лежал — руки по швам, и вообще удостоверено, — он «самоубился».

— Зачем их пришлось вырывать? — удивился Лагода.

— Это зовется пышным словом — не просто вырыли, а эксгумацию совершили. Все так выражались: приезжий товарищ, который там присутствовал, и археолог и писатели, — *эксгумация*. А зачем? Очень просто, — монастырь повернули под беспризорников, кладбище же со всеми крестами порешили на снос, чего-нибудь живого на этой земле выведут. А статейку о гоголевой могиле, и чего на ней понаписано было со всех сторон, ты обработай. Последней ведь твоя запись была, писателя этого чтим мы не мало.

— Неправдоподобно все это, — сказал Лагода. — И снесло же меня на могилу его...

— Что в порядке вещей, то тебе как раз дико. Еще обиду священному праху измысли! Да умному человеку должно быть, по-моему, просто лестно, если его гнилые кости уступают свое место для полезного здания. Ну, ты это на досуге переживай, сейчас мы к тебе на минутку. Заходили к Нине, да ее нет, а надо срочно передать ей физику. Ты тут по соседству живешь, наведайся к ней через час и скажи, что я сегодня домой не приду.

Маврик говорил, видимо смущаясь, словно обрадовался, когда увидел на столе рукопись Таманина. Покрутил ее в руках:

— Если кончил, и ее заодно снеси Нине. Она уже спрашивала, ведь особенно этой штуковиной дорожит.

— Еще бы, тут все рассказано про ее родную мать, — сказала Саня, — Критов читал, говорит: нафилонила эта дама в романе выше головы. Я сама читать пробовала, ничего не пойму, ты уж мне своими словами, Маврик, объясни: отчего прежние люди так нарочно жили?

— Хорошо, Санька делаешь, что мозги не засоряешь! — хлопнул ее Маврик по плечу, — подобная психологическая дребедень одним историкам литературы по зубам.

— Про чью мать, вы сказали, написано в этой рукописи? — подошел к Сане побледневший Лагода. — Как звали ее, эту мать? Кто знал ее?

— Ну, разумеется, ее звали, как героиню звать полагается, — Зоя Павловна, — ухмыльнулся Маврик. — И мы с Ниной жили с ней вместе. Все, что тут, это про нее наворочено. Жаль, что не прочел я про ее художества, пока она жива была, поговорил бы с ней я.

— Она умерла? — поспешно спросил Лагода, — когда же?

— Да нет и полгода, перед отъездом Нины за границу.

— Мы могли б встретиться... боже мой! — Лагода без сил опустился на стул.

— Да ты, товарищ дорогой, никак повредился. По рукописи, што ли, втюрился в героиню? Или болен ты сам по себе? Ну, плюй тогда на физику, не ходи к Нине, ложись в кровать.

— Дядя Лагода, ты может вправду болен? — и заботливо Саня вынула из портмонэ белую плотную пуговку аспирина. — Вот запей водой и вспотеешь. Я завтра наведаюсь.

Оба бегом скатились с лестницы.

Лагода запер двери, постоял, что-то припоминая. Вынул опять желтенький листок старинного письма и перечел вслух несколько строк, написанных двадцать лет тому назад :

— У меня родилась дочь. Отец — вы.

Подписано — Элла. Но она же — Зоя Павловна. В таком случае, кто же дочь?

Если она единственная у своей матери, то она — Нина Каданова.

А в сущности, по-настоящему, она — Нина Лагода.

И ей снести надо учебник физики. Кто же кому снесет книгу? Отец — дочери.

Лагода переложил заветный листок из кармана большого в маленький боковой и вышел из дому.

Не останавливаясь, несколько больше обычного развинченной походкой поднялся он на высокую лестницу, где жила Нина, собрался было позвонить, но не позвонил. Сел тут же на ступеньку.

Долго сидел без движения, словно вынуты из него были все кости и нет в теле упругости, чтобы встать.

Сердобольная вузовка приняла его за голодного интеллигента и, деликатно уронив рядом с ним гривенник, сбежала вниз по лестнице.

Так сидящего у ее дверей и застала Лагоду Нина Каданова.

— Вот вам от Маврика физика, — поспешно вставая, протянул Лагода книгу.

Она, не глядя, взяла, чуть кивнула ему головой и повернула в двери ключ.

Тогда, испугавшись, что она его не пригласит войти, Лагода заторопился, взволнованный:

— Мне необходимо полчасика... у меня дело к вам.

— Через час у меня опять заседание, — нелюбезно сказала Нина и, увидав в руке Лагоды рукопись Таманина, прибавила с явным раздражением: — если вы хотите насчет прочитанного, то ведь мы постановили, что обсуждение будет потом, когда прочтут все, а еще Саня Птахова и не думала.

Лагода впился в лицо Нины. У него захватило дух: было так оно похоже на то *лицо*. Как мог он не обратить сразу внимания? Да, это одно и то же лицо, у Нины помоложе, чем у Зои Павловны, когда он

познакомился с нею в деревне у охотника-дядюшки. И еще меньше доброты в чертах Нины.

Нина с удивлением ждала, чем разрешится чудак Лагода, наконец кинула ему на ходу:

— Ну войдите же в комнату!

Лагода вошел и сразу над письменным девичьим столом он увидел портрет Эллы (она же — Зоя Павловна).

— Умоляю вас, скажите мне, — вы одна у вашей матери? Были у вас сестры?

— Зачем же умолять, это самая обыденная справка, только не понимаю, зачем вдруг вам? Да, я у матери единственная дочь. Больше не было детей.

— А отец ваш? — У Лагоды перехватило дыхание, он зашагал по комнате. Остановился перед Ниной, решительно взял ее за обе руки, сильно сжал в кисти, сказал:

— Если бы вы узнали, что отец ваш не тот, кого отцом привыкли считать... а совсем другой человек? Вы как?

Нина пожала плечом:

— Да никак. Разве что подивилась бы новому варианту в психологическом нагромождении, которое люди прошлого века понимали как утонченность жизни.

— И только? — Не веря, отступил Лагода. — О, прошу вас, скажите правду. Ваша бесчувственность неестественна. Она просто противна человеческой природе. Ведь если б точно так, как стою я перед вами, встал ваш истинный, кровный, ваш родной отец?

— Просто не пойму вас, — наконец, с любопытством оглядывая Лагоду, улыбнулась Нина, — ну не все ли мне равно, посудите сами. До сих-то пор ведь я прожила без этого кровного? Что у меня с ним может быть связано, что нас может объединить? Ну понятно, будь он еще какой-нибудь там особенный общественный деятель, или отмечен особым дарованием.

— Он ничем не отмечен, — покраснел Лагода, — совершенно ничем. Он, знаете ли, он просто человек.

— Может быть даже — бывший? — усмехнулась Нина.

— Почти бывший... — как эхо, повторил Лагода. — Он тот, о котором недоговорено в вашей рукописи.

— На меня, как ушат холодной воды, вся изображенная там декаденщина, с истерикой самоковыряния. Самый умный человек, помоему, это Тихон, что живой лечь в гроб захотел, по крайней мере нашел свое место, — все они там мертвяки. Несомненная польза от этой рукописи та, что без нее я бы еще поколебалась решиться на одно дело. Но, ужаснувшись дебрей индивидуализма, боясь попасть в

их клубок, я хвачу так вот, с плеча... вот нарочно даю вам — прочтите.

Нина выдвинула ящичек письменного стола, вынула крупно исписанную четвертушку, подала ее Лагоде.

Он, не веря глазам, прочел заявление от имени Нины в ячейку о том, что поведение товарища Маврика по отношению к ней отмечено фальшью и обманом, ибо он, не разрывая с ней окончательно, сошелся с комсомолкой Саней Птаховой. Она требовала разбора поступков Маврика и товарищеского над ним суда.

—И вы действительно предстанете вместе с Саней? Вы обе отдадите ваше интимное на суд посторонним? Потопчете свое женское достоинство? Но во имя чего такое насилие над собой?

— Во имя оздоровления коллектива. Не понятно? Во имя того, чтобы новая, твердая, не ваша — н а ш а этика устоялась. В прежние годы, говорят, поражались тому, что в соседней Финляндии можно было оставлять дома без запоров — никто ничего не крал. А почему воров не было? Потому что когда-то действовал жестокий закон — за кражу рубили правую руку. И уже поколенья рождались с невозможностью быть им ворами. Так и мы вырастим людей, которым уже органически, как дыханье, будут невозможны недобросовестность и обман.

«Недавно я обнаружила, что Маврик сошелся с Саней, и ничего мне об этом не говорит. Если он обманщик или трус в интимных отношениях, то кто поручится, что он не обманет и в делах общественных? А к нему у всех особое доверие. Вот пусть оправдается, пусть ответит...

«Что касается утраты женской чести, о которой вы такую ерунду сморозили, то, по-моему, напротив того, я ее приобрету и умножу именно тем, что не дам себя поработить индивидуальной склонности. Да, передавая свое интимное в руки товарищей, я не рискую запутаться в психологическом тупике. Кроме того я этим поступком реально реагирую на вот эту, прочитанную вами, рукопись, осуждая все фокусы, которые выкидывала в веке прошедшем моя декадентская маменька. Считала сама себя утонченной личностью, да одного молодца угробила, а других одурачила на всю жизнь. Вот подобные вкусы зовутся по-нашему, по-сегодняшнему — потерею женской чести, если вам угодно знать...

— Замолчите... вы не смеете...

Лагода стиснул до боли Нину за обе руки.

— Ваша мать была необыкновенная женщина, это ее время виновато, что она не выразила себя, как ей подобало. Вам просто не понять этот пламень, эту непримиримую жажду абсолюта. Она давала незабываемое, она...

— Мне подобная философия ничуть не интересна, — обрезала Нина. — Скажите лучше, уж не вы ли мой новоявленный отец, выпавший из текста рукописи и собственно говоря из всей моей биографии?

Лагода молча протянул Нине письмо Эллы, то есть Зои Павловны.

Нина прочла и, как она ни бравировала представшими обстоятельствами, как ни хотела пренебречь всякими «атавизмами», — губы ее задрожали, и она молчала долгое время.

— Да, это почерк моей матери. Он такой особенный, его ни с каким не спутаешь, — наконец сказала она, справившись с собой. Подала обратно Лагоде письмо и, глянув на часы, решительно встала:

— А на заседание мне все-таки опоздать невозможно, пора итти...

Отец и дочь вышли вместе и разошлись в разные стороны.

Нину Каданову записки Таманина поразили глубже, чем она ждала и хотела, и она пустилась на всякие хитрости, чтобы не допустить обычного в их кружке коллективного обсуждения материала, споров и прений «по поводу». Материал-то ведь оказался кровным... оказался ее, Нины, «семейной» историей. Чувство это у нее не было сил преодолеть, но и не хотелось себе в нем признаваться.

Да «записки из погребца», которые для товарищей были кунсткамерой прошлого века, «декадентской викториной», как прозвал их Маврик, — для нее-то были биографией родной матери и встречей с родным отцом. Как все дико повернулось.

У Нины было чувство, что ее, взбежавшую на веселый зеленый холм, схватили за ноги и потянули в болото. Так внутренно она растерялась, что изо всех сил держалась за усвоенную жесткую внешнюю манеру. Ведь если Лагода — отец, значит выросла в обмане, будто отец Каданов, значит и его мать обманула... нет, это было не так уже все равно. По-иному расшифровывался характер близкого человека. И было непонятно и мучительно.

К тому же сколько ни защищалась, — психология матери не была ей чужда. Та недавняя дореволюционная, но уже древняя женщина искала опереться на мужчину, чтоб собрать собственную силу, дать свой цвет. Вся инфернальность Зои Павловны, как оказалось из записок — в юности простой, сильно чувствующей провинциальной девушки — произошла от того, что не умела стоять на своих ногах. И еще потому, что соблазнил Данте той музыкой, той, им воспетой любовью, «которая движет солнце и другие звезды».

А ее, Нину, разве совсем такое не соблазняет? Разве не показалось ей вдруг, что у нее с Мавриком никакой любви нет, не только той, что воспета Данте. Просто одно сожитие, а не любовь.

Когда Нина узнала жизнь своей матери, она поняла, что по природе своей, по внутреннему существу, — она, хочет не хочет, такая же, хотя воля и сознание устремлены у нее совсем на иное.

И вот, поделать ничего не могла, — с Мавриком стало вдруг жить невозможно. Сошлись они год тому назад совсем бездумно, считая, что то, что у них вышло, и есть *любовь*, и никакой другой любви не бывает. Помогали работать один другому и смеялись и ссорились, чтобы вечером непременно помириться.

Но вдруг всего этого сделалось мало. И хоть убежать...

Возможно, обмололось бы, прожить только б месяц отдельно, осмотреться одной. Это Нина и предложила. Но Маврик совершенно не понял, зачем понадобилась ей разлука, и рассердился. Он-то хотел одного: продолжения прежних безыскусственных отношений. И на этом распалась их совместная жизнь.

Нина стала загружать себя работой, не желая давать поблажки *атавизму*, так мысленно она назвала то новое, что нахлынуло в ее чувства. Она старалась естественно избегать Маврика, еще надеясь, что все само обойдется, все будет просто, как раньше.

Но Маврик настойчиво искал объяснения. Он подстерег как-то Нину в клубе до заседания. Часто бывает, когда близкие люди по-настоящему долго не общаются, им легче начать интимный разговор не дома, а оставшись наедине, в чужом месте, вне власти знакомых вещей и связанных с собственной комнатой воспоминаний.

В чужом месте заговорить можно сразу и вдруг, без предисловий, о своем, о самом главном. Так и вышло.

Маврик положил на окно портфель и сказал весело:

— Вот и хорошо, что ты пришла раньше всех, как бывало, помнишь, когда мы спешили на свиданье друг с другом. Поговорим, Нина... ну, кто подменил тебя? Что случилось? Ведь ты словно забаррикадировалась. Если полюбила кого — так и скажи.

— Никого у меня другого нет! — вспыхнула Нина. — Подожди, дай осмотреться, я сама себя не понимаю. Ведь развивается человек, растет...

Маврик пожал плечами:

— В любви для меня все должно быть просто, — вот как солнце встает и светит. Чтобы жить было тепло и работа спорилась. Так у нас и было. Никаких проблем я здесь признавать не желаю — или да или нет?

— А по-моему, любовь — это то же, что *искусство*, — сказала Нина, и сама удивилась своим словам. — Ведь только новичку искусство может казаться немудреным делом. Чем дальше в лес, тем больше дров...

— Вот скажи еще, что тебе нужна этакая особая красота отношений и всякое потустороеннее, о чем говорится в твоих «Записках из погребца». Вместо того, чтобы целоваться без разговоров, потребуй, чтобы я предварительно с тобой менуэт какой-нибудь танцовал.

— Глупо то, что ты говоришь...

— Нет, не глупо. Только что освободились от романтического хлама, и опять к нему в хомут полезай, — слуга покорный!

— А женщине всегда, во все времена будет такая любовь нужна, которая «движет солнце и другие звезды». L'amor che muove il Sole e l'altre Stelle.

— Это еще откуда?

— Это из Данте.

Пришли ребята, открылся кружок. У Нины с Мавриком разговоров больше не было.

Скоро Нина заметила, что Саня сблизилась с Мавриком. Но ведь их отношения еще порваны не были. Он на всякий случай тянул, если Нина не совсем отойдет. Все эти расчеты Нина видела ясно, так же ясно, как то, что в решении подать на Маврика заявление в ячейку только наполовину в ней говорит объективное возмущение нечестностью товарища, другую же половину отнести надо к обыкновенной женской ревности. Это последнее сознание стало так унизительно, что сейчас, придя с заседания в свою комнату, она в мелкие клочья изорвала то заявление в ячейку, которое показывала Лагоде.

И хорошо сделала, потому что пришло по почте заказное письмо и было оно от Маврика. Он писал твердо, ясно и прямо, что кончилась их совместная жизнь, что, уважая друг друга, склеивать то, что развалилось, — малодушие и радости не принесет. Благодарил за старое, оставался прежним добрым товарищем.

— Вот села бы в калошу... — Нина чиркнула спичкой и стала один за другим сжигать клочки разорванного заявления. Смела кучу пепла на ладонь, бросила в печь, щелкнула герметической заслонкой.

— А теперь — точка. И никаких психологий, — сказала она себе вслух. — Вся жизнь впереди.

С неожиданным облегчением она почувствовала, что имеет действительную силу откинуть свое личное, что усилия, затраченные на то, чтобы разбить заколдованный небольшой круг былых женских радостей и страданий, свое дело сделали. И, как ее мать, она своих сил на погоню за призраками личного счастья уже не отдаст.

Нина с головой погрузилась в свою заброшенную за последнее время работу.

Лагода сидел в пустой комнате. У него была кровать, стол, стул, на деревянных полках книги. Перед ним стояла корзина с бумагами и он в ней рылся.

Только что побывали у него Маврик с Саней, принесли какого-то повидла в презент. Саня заставила еще проглотить пуговку аспирина. Маврик торопил, желая взбодрить старика, с работой о Гоголе.

Но видно было, — не только за этим пришел Маврик. Наконец он разрешился и без всяких подходов брякнул:

— А у меня в личной-то жизни перемена: женой Санька числится.

— Мы с ним оба простые ребята, — вот и вышли под стать, — пояснила Саня.

— А с Ниной-то как? — невольно волнуясь, проговорил Лагода.

И Саня, смеясь, рассказала, как Нина чуть было не подала на Маврика в ячейку, а сейчас договорились по-хорошему и никому никаких обид нет.

— И что же, — опять все друзья?

— А то как же? — покраснела Саня, — разве кто Нине свинью подложил? Еще дружней прежнего заживем.

— Ты, дядя, по прежней психологии нас не ровняй, — сказал Маврик, — мы друг другу не врем и трагедий накручивать не охотники. Вообрази, та чердачная рукопись сыграла тоже свою роль в этом деле: она вроде пришпорила нас на решение. — Спасибо тому старикану, что не поленился закрепить для нас мятежную, тоскующую, страдающую по «инобытию» интеллигентскую истерику прошлого века! Ведь мы было думали: на-черта нам «надрыв» вашей личности, не сумевшей растворить своей индивидуальной судьбы в социализме, а выходит — на большую потребу. Ну просто трамплин какой-то, чтобы прыгнуть повыше. Для таких, как я и Нина, во всяком случае. Саня же и Критов у нас *монолиты*, им даже опорных точек не надо. Да, дядя Лагода, для меня теперь очевидность, что всякое утильсырье прошлых веков можно взять в перековку на потребу нашего сегодняшнего дня.

— Но ведь у нас *заказ* был на *вечность*, —проговорил тихо Лагода, — и каждый поэтому мог сказать известными словами Гоголя: душа заняла меня *всего*.

— Занять-то заняла, да куда привела! Эх, товарищ Лагода, брось хандру, — сказал Маврик, — займись делом. Напиши про Гоголя. Говорю тебе, пригодится восстановить бывшую могилу для будущих хрестоматий. В слове крепче будет дело, чем в грунте. Грунт, брат, и под баню может быть отведен. Не копить же нам сотни лет мертвецов.

Они ушли веселые, шумные, а Лагоду зазнобило не на шутку. Принял он вторую пуговку аспирина, зажег обе свои лампочки, закутался и попытался собрать свои мысли на Гоголе.

То, что прежде давалось так легко, сейчас стоило неимоверных усилий. Мысли прыгали, — он, конечно, был болен.

Лагода стал думать, какие слова найти, чтобы убедить Маврика, что искания одного поколения дают результат свой часто не в следую-

щем поколении, а много поздней. Как убедить, что всякий *оплаченный* жизненный счет тянет свой вес в мировой экономии.

Мысль эта тотчас привела к его старой работе, что символисты выросли из нескольких мотивов, рожденных Гоголем. Только сформулировать, расчленить, убедить Гоголь не мог, — они же сумели прекрасно, правда, утратив всю силу гоголевского чувства в обмен на свободу расширенного восприятия.

Так порой отвергнута за косноязычие бывает первая, слишком взволнованная и честная любовь, и легко получает взаимность остывший, холодный, но вооруженный красноречием, опыт.

И какая издевка, что катастрофическая проблема, занимавшая Гоголя — можно ли человеку быть творцом-художником, не будучи святым — вместо неумного попа Матфея, — разрешена была все в том же зале с фривольными амурами и венками по стенам, о котором повествуется и в «Записках». И разрешена совсем по-иному.

Лагода помнит отлично: прихлебывая из непременного лекторского стакана воду для прочистки горла, одним из всегдашних ораторов доказано было равноправие г е н и я, хотя бы аморального, и с в я т о с т и, в достижении общего творческого задания мира. И пример Лагода вспомнил — Франциск Ассизский и Пушкин.

Франциск творил *себя самого*, он создавал себе иное, более совершенное бытие, а Пушкин творил великое безмерно ценное для всего мира, но *себя* не творил. В творчестве гений жертвует собою. Этим гений оправдан.

А Гоголь погиб оттого, что известное рядовому члену религиозно-философского общества было ему неизвестно. Он не знал, что его гений — единственный его путь. Он не посмел это знать, а за ним не только русская литература, вышедшая из его «Шинели», — несколько поколений не посмели верить самим себе. Слишком умные, чтобы поверить вековому, готовому, — они уже не верили ничему и гибли от бесплодия.

И шевелилась зависть к этим Маврикам, к сегодняшним молодым, которые так легко расправились с его, Лагоды, прошлым, и, не утруждая себя проверкой, ничем не поступясь, ничего не заплатив за свое познание, — так уверенно *знают*.

Опять мысль перекинулась к Гоголю: он-то, в конце концов, что узнал, сломав свой гений, свой пронзающий разум, свою жизнь?

Лагода опустил худые ноги, не глядя влез в шлепанцы, запахнул халат и пошел колесить по комнате, забывая в сотый раз, что на утро нижние жильцы грозить будут жалобой в товарищеский суд жакта за то, что он топотал над их головами после полуночи.

Что узнал Гоголь там, в Назарете, где вместо ожидаемого полета оказалась одна пустыня сердца, где ночью искусали его блохи и

где шел, как в каком-нибудь Парголове, беспросветный мелкий дождь?

Узнал, что «одно забвение человеку — потеряться в бешеной пляске... только в танце душа не боится тела».

А через полвека одарен был тем же познанием родственный Гоголю язычник и девственник Фридрих Ницше, воскликнувший устами Заратустры о мудрости пляски и пляшущих.

После Ницше попадает вдохновение в новый тупик. Его носители углубляют личное с надеждой таким образом выбраться в сверхличное или погибнуть — но нет, не принять того, что зовется д е й с т в и т е л ь н о с т ь.

Наконец на трупы этих искавших, безумных, погибших, встали совсем новые, молодые. Они, поколеньями оплаченный счет, назовут, как Маврик, — *утиль, сырье прошлых веков*. Но они же возьмут в перековку то, что зовется *действительность*, и кто знает — не добьются ли в конце концов именно о н и этого чаяния всех времен — превращения слепой смертоносной силы в силу разумную?

Наконец Лагоде удалось свои мысли собрать на Гоголе. Он взял тетрадь и перо и принялся воскрешать в памяти заметки, что растрепали в Москве во дворе Критова две собаки. Он вдруг припомнил, и *ворона*, который таща кусок масла с окна, спихнул за окно лапой те заметки. Запахивая крылья, как полы вицмундира с фрачным хвостом, *гоголем* выступала черная птица. И Лагода возглавил свою первую главу:

ВОРОН

Болела голова, и воображение не подчинялось, оно самовольно понеслось к последнему этапу жизни писателя — к его поездке в Иерусалим.

Как должен был он защищаться, чтобы не высмеять ему некую греческую индульгенцию — жестокое искушение его юмору.

Тут она, эта индульгенция, в ящичке, где и письмо Зои Павловны. Лагода списал ее с приведенного где-то подлинника с соблюдением всех курьезов орфографии.

Письмо Зои Павловны хранить больше нечего, — родная дочь найдена. Найдена и тут же потеряна.

— Отставной отец! — ухмыльнулся Лагода и хотел было разорвать желтенький листок, так бережно хранимый. Нет, не разорвал, спрятал обратно. Документ же, относящийся к Гоголю, выровнял костлявыми пальцами и прочел:

1848 года Февраля 28. Во граде Иерусалим.

Ради усердию, которое показывал к живоносного гроба Господня и на прочия святых местах духовной сын наш Николай Гоголь, в том благословляю ему маленькой части камушка от гроба господня и части дерева от двери храма Воскресения, которая сгорела во время пожара 1808 года сентября 30 дня. Эти частички обе справедливость Митрополит Петрос Мелетий наместник патриарха в святом граде Иерусалиме.

Сейчас с почетом, говорил Маврик, вырыли Гоголя и с ним соседние прахи и перевезли их.

Реликвии, бывшие при них, переданы в исторический музей. Это зовется эксгумация. Для памяти Гоголя это говорят, почетнее всего. Музей сохраннее кладбища... а для истории можно и словесно восстановить первоначальную могилу писателя в Даниловом монастыре.

Лагода намочил холодной водой полотенце, накрутил, его в виде чалмы и свалился на кровать. Стучало в ушах его: экс-гу-ма-ция, как назойливый овод пристало слово.

Схватил диксионер, порылся: ex-humer — вырывать, выкапывать. В скобках — из забвения.

Уронил книгу на пол. Кружилась от усилий, пылала голова. Дым повалил какой-то. В этом дыму пошла разворачиваться несуразная ерунда. Он еще знал о ее неправдоподобии, он еще не верил своему бреду, но уже не смотреть этот бред не мог.

Он смотрел и видел с самого начала ее, — экс-гу-ма-цию. Не ту настоящую, где знаменитым прахам должны были воздать заслуженный ими почет, а *пародию*, где верховодили одни *мертвые души*.

Великий художник дал бессмертие мертвым, и мертвые мстили творцу за то, что лишены были своих могил...

НОВЫЙ ГОРОД

...Так, на полу собственной комнаты, нашли на утро Лагоду Саня и Маврик и в совершенном бреду перевезли его в больницу.

Лагода проболел до глубокой осени. Когда вышел из больницы, был еще очень слаб. Ребята усиленно готовились к празднованию пятнадцатилетия революции, но все же находили время и к нему забегать.

Когда он еще был в забытьи и только минутами приходил в себя, он узнавал чаще других Нину, с заботой подававшую ему лекарство. Он не удивлялся. Между ними сразу установились отношения безмолвного понимания. Лагода чувством знал, что Нина приняла его как отца, но словами не признается никогда, и сам он без слов одними глазами благодарил ее.

Забота Нины и всех ребят продолжалась и дальше, когда Лагода

вернулся в свою пустую комнату, так что он кончил тем, что прочно поверил: он не круглый бобыль.

Критов и Маврик придумали грандиозную феерию для широких масс. Соавтором и консультантом выбрали Лагоду.

Вступлением к феерии предполагалось взять пятнадцатилетие революции. Город между соавторами распределен был по часам. Лагода выбрал себе — Ленинград ночью.

В день пятнадцатилетия революции встал над городом легкий туман. Ребятишки, в ожидании иллюминации реки, обметали плотной тучей мосты и граниты набережных и веселой частушкой гнали мелкий, сеющий дождь.

Перед началом вечернего массового гулянья выдался час затишья, и Лагода, уже не рискуя попасть в поток демонстрации, пошел осматривать город.

Трамвай принес его к изумрудному полю. Звездообразно сбегались дороги к твердыням гранита могил всеми чтимых защитников революции. И с неизбежным всякий раз изумлением вспомнил Лагода, как еще столь недавно этот чудесный луг был просто пыльным, без единой травинки пространством, где гарцовала в дни парадов конная гвардия их величеств. Само же пространство прозывалось во славу войны и военных — Марсово поле.

Еще раньше, при Екатерине, тут был Царицын луг, при Петре — потешное поле, в него же входил и Летний сад. Здесь в бассейнах водились тюлени и свергались каскады с искусственных скал.

На месте вон того серого мраморного дворца стоял почтовый двор с большой пристанью. Оттуда гремела музыка, под аккомпанимент которой, по соседству, из зверового двора ревели слоны.

А вон в том крайнем, с белоснежной александровской колоннадой, уже на памяти у всех были Павловские казармы, по традиции набитые курносыми до отказа солдатами, схожими, как кровные братья, с самим императором Павлом Первым.

Сегодня в этом здании *Электроток*.

— Вали, ребята, сейчас хватят огнями...

— Дождик-то мимо проехал?

— Ну, экранище! Развернули во славу первой пятилетки!

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА В СССР.

Несметная толпа ребят и взрослых стянулась со всех улиц к Электротоку, и под раскатное ура из тысячи восторгнувшихся глоток вспыхнули на экране зеленые, алые, оранжевые огни новых электростанций. Закружились два ослепительных солнца, и высоко на небе взвилась и стала большая пятиконечная звезда.

— Наша красная... ишь ты, какую работищу увенчала.

— Пятиконечная звезда, граждане, — древнейший символ. Да знаете ли вы, что это геометрическая формула *человека*? Знак его победной мощи? Верхняя точка — голова. Распростертые руки означают...

— Ну это, дядя, проврался: распростертые нам несподручны, пока что мы руки в железный кулак.

— Как торчал тут на площади от Рот Фронта.

— Капиталистов им по зубам!

Против Электротока в самой средине необозримого поля с изумрудным газоном, сменившим былую едкую пыль, четыре столба с широкими траурными флагами вознесены Мопром в память жертв белого террора. Внутри гранитного окружения могил защитников революции широко расставлены иные флаги, — легкие, яркие, как гигантские лепестки дикого мака. Основания древка не видно, и зрителю легко представляется, что посредине вода, а на воде — колеблемые ветром паруса бесчисленных лодок.

> Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией, пролетарии могут потерять в ней только свои цепи, приобретут же они целый мир.

Внезапно площадь стихла.. Остановились вливавшиеся с моста шеренги краснофлотцев и красноармейцев, отдохнувшие от грандиозного утреннего парада, готовые к новому, вечернему торжеству. Остановились грузовики с рабочими разных заводов, провозившими эмблемы своих производств. Остановились разноцветные физкультурники, и пионеры в красных галстуках и юбилейные трамваи, полные веселых октябрят.

Все уставились в небо, где создался внезапно новый сказочный купол из разноцветных огней. Фанфары вознесли над городом победный свой клич, и грянули оркестры.

На зависть всех ребят огромные шары-пилоты взвились над домами, за собой мча плакаты и лозунги. Слетевшиеся вдруг самолеты несчетной стаей белых голубей засыпали листовками, как снегом всю площадь.

ВЫШЕ ЗНАМЯ ЛЕНИНА — ОНО НЕСЕТ НАМ ПОБЕДУ.

Смерклось. Ярче вспыхнули огни на экране. Выражая стремительность стройки, ее энергию и грандиозный размах, широкими гирляндами побежали огни вдоль фасада великолепного здания Электротока и бросились в тьму. Вновь загорелись, размножились пышными цепями на всех пяти невских мостах. Обежали контуры пришедших

из Кронштадта судов, подводных лодок и пристаней. Огни охватили пламенем единственную в своем великолепии реку.

Порой Нева прикрывалась фатой тумана и была призрачной холодной рекой, но отлетал туман ввысь, и сразу от ярких огней вода текла южная, теплая. На ее легких волнах, как рассыпанное золотое пшено, трепетали отражения.

Ребята, забравшиеся на столбы мостов, считали лодки и броненосцы, и всех восхищала Аврора.

Трехтрубная, двухмачтовая, она выросла огненным силуэтом на том самом месте, как и пятнадцать лет назад.

Набегающие мелкими вспышками огоньки очерчивали орудие и замирали. Пауза, внезапный красный огонь выстрела.

Аврора целилась, Аврора стреляла. Аврора попадала. Пятнадцатилетие начиналось сызнова.

Чей-то голос из ребят, повисших над рекой, продекламировал:

В тот год не для того Аврора
Вошла в гранитную Неву,
Чтоб тешить ленинградцев взоры...

Новым потоком с мостов хлынули ребята с флажками, потешники, музыканты...

Город спешил на праздничный выход из-под арки главного штаба, и с трудом в гуще людей пробирались юбилейные трамваи, мохнатые от множества лампочек — красных, синих, зеленых.

Рассеялся даже легкий туман, и суда себя повторили в воде с точностью чертежей. От Лебяжьего моста к Неве, сопровождая трамвай сухопутный, побежало его отражение с такой же яркостью изумрудов и рубинов огней.

— Это Л-55. Это английская. Это та самая... мы ее подняли.

Ребята закричали, приветствуя подошедшую подводную лодку.

С большого Дворцового, ныне Республиканского, моста раскрачивалась замечательная площадь с Зимним дворцом, с классической победной аркой Росси, с колонной.

Площадь много выиграла от вырубленных деревьев и снятой безвкусной решетки с тяжкими царскими вензелями.

Революция восстановила первоначальную задачу славного архитектора — открытый вид на адмиралтейство, Неву.

Поражало великолепие флагов на крыше главного штаба. Соотношения цветов алого, оранжевого и сольферино угадано было столь гармонично, что получилось легкое, трепетно живое пламя, обегающее вдоль по крыше все грандиозное здание.

Из-за угла улицы Халтурина, из огромного ока прожектора то

лиловый, то пурпурный луч падал на мост, на дворец, на картину панно — взятие Зимнего.

Луч ударил в барельеф Ленина из серого камня, возглавлявший трибуны. От игры света показалось: живой человек, опершись на одну руку, другой двинул вперед, и прищурившись, как победитель, кричал всему миру:

— КТО КОГО?

Коренастый, чугунный с вытянутой говорящей рукой, во внезапном луче света до жути живой в городе Ленина — Ленин был всюду. Во весь рост, на балконе бывшего дворца Кшесинской, отмеченном плакатом как «Штаб большевистского руководства в период завоевания власти». Над Смольным выложен огнями знакомый профиль.

— Флаг-то над ним как пожар, и не видать, на чем колыхается, прямо в небе...

— Ты у Литейного посмотри — там художники, говорят, на большой палец...

Действительно, на расплавленном золотом фоне плотный черный силуэт стоял высоко над рекой и был виден всем пришедшим судам. Поднятая с силой рука, казалось, только сопровождала могучую команду незримым войскам, пошедшим вперед, не озираясь на колыхавшее пламя за силуэтом вождя.

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем...

Грянула на суше хоровая декламация. С реки неслась песня красных партизан. Особый восторг вызывали свободно гулявшие краснофлотцы и красноармейцы. Замечательный утренний парад у всех был в памяти, и героев парада забрасывали вопросами о значении виденных танков и танкет, о поразивших воображение грузовиках для перевозки лошадей. То тут, то там с бочек, окруженных толпой, неслись особо звонкие голоса ораторов, разъяснявших содержание плакатов.

Одному, толковавшему о культурно-бытовом строительстве, из публики летели претензии, — оратора уже самого почитали ответственным за новостройку.

Перед длинной гирляндой портретов ударников густа толпа женщин — матери, жены, невесты, сестры, сочувствующие и просто знакомые. Среди множества голов в кепках, голов волосатых или лысых, каждый выбирает родную голову *своего*.

— Вот по подобному поводу уж по совести можно сказать, не соврать, — ни в одной стране бабьего скопа нельзя наблюсти, ни

в одной, кроме нашей. Вот заснять бы наших на зависть фашистскому бабняку!

В противоположность новому городу погружена в мрак история давней империи. Ее памятники не освещены. Как символ, они отступили в тьму, они погружены в небытие. Но как произведения искусства, составляющие народную гордость, они живут. И на опаловом от ракет, юбилейном небе, черным силуэтом вверху черной скалы, вздыбил Петр своего коня.

На бывших соборах Исаакия и Казанском венцы из огней. Они увенчаны, они по-новому вознесены.

Здесь венчаются — Коперник, Галилей, Радищев и Новиков, — венчается величайшая гордость человечества: смелая мысль.

Из купола Исаакия, минуя выступ, откуда в неделю православия протодьякон извергал *анафему* Гришке Отрепьеву и Пугачеву, спускается книзу громадный маятник. И волнуя, и веселя, убеждает граждан, лишь недавно закончивших ликбез, в несомненном вращении земли старинный опыт Фуко.

— А мощи Иосафа, слыхать, отсырели, их штоль в обнимку сносила уборщица просушить. Вон туда, говорят, на самую вышку.. теперь ведь и он — экспонат.

— Коль умен был старик, — не обидится.

На Казанском соборе портреты вождей и надпись:

ПРЕОДОЛЕЕМ ПЕРЕЖИТКИ КАПИТАЛИЗМА В ЭКОНОМИКЕ И СОЗНАНИИ

И лишь где-то глубоко под ними, золотится в нише древнее: величит душа моя господа.

Царя попрежнему над уже мертвой империей, пронзает ночным черным шпилем бенгальским светом заполыхавшее небо: — Петропавловская крепость. Злым пламенем горят огромные глаза — куранты крепости. Сказочной злой совой они смотрят на новый город.

— Ишь распалилась, — кричат ей, — чай, не сладко вызванивать Интернационал? Трудись, тетка, перестраивайся!

На дворце Труда, бывшем Ксенинском институте, громадное панно: рабочие всего Союза со всеми нацменьшинствами объединены лозунгом, ставшим ныне историей. Его читают хором приехавшие на празднества издалека экскурсанты:

ТРУД — ДЕЛО СЛАВЫ, ДЕЛО ЧЕСТИ, ДЕЛО ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА

Как сторожевые великаны, стоят во весь рост громадные вожди, и сверкающим мостом соединяет портреты гордость пятилетки — яркоголубой Днепрострой.

Новый, совсем новый город...

Но самое изумляющее было для Лагоды, самое новое в этом городе — это *массы*.

Нет, это не прежняя толпа, повалившая на гулянку в ожиданьи подачки. Бесправная толпа, то и дело осаживаемая конной полицией. Нет, это пожалуй даже совсем не *толпа*.

Это люди организованные, хорошо знающие смысл всего, что возвещалось в плакатах, что с лапидарной силой поддерживал лозунг.

Шли заводы с эмблемами своих производств, с наглядными цифрами промфинплана, и каждый знал, зачем цифры выполнены, каждый был горд своим делом. На грузовиках оржественно продвигались модели тракторов, паровозов, гигантских катушек и великанов — калош Треугольника.

Пешие шли без ухарства, без былой присядки, без разбойного мимолетного удальства. Лица были сосредоточены и важны. Лица говорили:

— Да это сделали *мы*. Именно — *мы*.

Что надлежало им сделать еще — возвещали огненными буквами запылавшие в сумерках лозунги. И новые граждане, — видел Лагода, — они уже знают на деле, знают кровью, сознанием, знают собственными рабочими руками, что выражает собой эта огнями бегущая в темное небо полоска:

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ

Сверкающая полоса перекликалась с горящей над самой рекой и пламенем отраженной в ее воде — большой римской цифрой:

XVI

Далеко на окраине Лагоду поразило здание изумительной архитектуры. Он его узнал по каталогу старого Петербурга. Строителем значился анонимный автор Александровского времени. Простоту и величавость здания завершали колоссальные фигуры бронзовых быков превосходной лепки.

Быки эти были ловко использованы для агитки. Один облачен был в форму генерала, другой действительным статским, в треуголке с плюмажем, отчего удивительно стал похож на испанского мавра. Вокруг быков торчали картонные полицейские. Верхом на быке-генерале сидел хмельной человек актерского типа.

Обняв одной рукой за шею быка, другой рукой человек ударял себя в грудь и вопрошал то ли с гордостью, то ли с недоумением:

Я — царь, я — раб, я — червь, я — бог!

«Последний индвидуалист» — подумал Лагода.


2р. переплет 80к.